

0-38

4•1981

октябрь—декабрь

ОТНМ
КУЗБАССА





ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 33-й

№ 4(73)



393100

В НОМЕРЕ:

К 60-ЛЕТИЮ ПОЭТА Е. С. БУРАВЛЕВА

- Евгений Буравлев. «Как на шестой гряде...» 3
Валентин Махалов. «Был рабочим столом верстак...» 4

СТИХИ

- Валерий Зубарев. Баллады судеб: Осенняя. Об ожесточенном человеке. О положительном человеке. Семейная. Таежная 8
Евгений Харламов. «И хотя я из города родом...», «О чем он плачет, несмышленный?..», «Памяти А. Н. Волошина 10
Валерий Берсенов. «Каков мороз!..». Смерть столяра. «Судьба...» 32
Семен Печеник. «Вот изморозь шпалы покрыла...» «Иду по угасающему снегу», «Осенний день», «Ты видишь...», Памяти Евг. Буравлева, «Стоят здесь терема», «Случилось видеть мне однажды...» 33
Михаил Орлов. «Счастливое утро!..», «И тонкие эти ростки...», «Задумавшись случайно, вдруг...» 49

ПРОЗА

- Владимир Коньков. «Летят утки и два гуся». Письмо из Таловки. Рассказы 11
Леонид Лягов. Дед Астафьев. Авария. Рассказы о шахтерах. 35
Анатолий Бобриков. Портрет 42

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

- Юрий Котляров. Падение. Документальное повествование. 50
Антон Дерябин. Я за тебя поручусь 68

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

- Максим Рыжков. Тайна девонских недр 73

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

- Рудольф Лихоманов. Заячьи рукавички. Синие холода. Воронья напраслина 80

О ПЕРВОЙ КНИГЕ МОЕГО ТОВАРИЩА

- Владимир Матвеев. «Все пето-перепето, а будто в первый раз...» 83

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

- Борис Рахманов. Литературные пародии: Вселенские мелочи. Бессловарные твари. Небольшой узелок 86

СТИХИ — ДЕТЯМ

- Станислав Долгов. Новоселье. Моей маме 82
Содержание альманаха за 1981 год 87

На первой странице обложки: Калина. Фото Н. Карева.

На второй странице обложки: Новокузнецк сегодня. Фото А. Санарова. К 50-летию города.

На четвертой странице обложки: Зима. Офорт О. А. Пинаевой.

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, С. Д. Донбай, Г. А. Емельянов, В. Ф. Зубарев (отв. секретарь), И. М. Киселев, В. Ф. Куропатов, В. Ф. Матвеев, В. В. Махалов, З. А. Чигарева, Г. Е. Юров

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Л. В. Глебова; художественный редактор А. С. Ротовский; технический редактор Г. Н. Манохина; корректор Е. И. Тимошук

Сдано в набор 17.07.81. Подписано в печать 20.10.81. ОП 03570. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 3. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,44. Усл., кр.-отт. 7,17. Уч.-изд. л. 8,69. Тираж 6000 экз. Заказ 12878. Цена 55 коп. Кемеровское книжное издательство, Кемерово, 59, ул. Ноградская, 5. Полиграфкомбинат, Кемерово, 59, ул. Ноградская, 5.

О 70500—47
М145(03)81 29—81—4700000000

© Кемеровское книжное издательство, 1981

К 60-ЛЕТИЮ
ПОЭТА
Е. С. БУРАВЛЕВА

Евгений Буравлев



* * *

Как на шестой гряде от бани,
В Таежке либо на Терси,
Не избалованы вниманьем,
Растут поэты на Руси.
Растут, как листья самосада,
И до поры — о них молчок.
Потом, когда пожухнут гряды,
Народ отметит: «Крепачок!»
И сколько раз минутой тяжкой,
Когда несладко мужикам,
Пойдет последнею затяжкой
По кругу крепкая строка,
Пойдет, как взводный тот окурочок
Перед решительным броском.
...Ну, а покамест на смех курам
Торчат за баней лопушечком.
Иной и двинул бы в столицу,
Но пораскинет наперед,
Что там ему не прокормиться,
А тут — картошка, огород.
Иной, махнув на все рукою,
Рискнет — и бьется на юру,
И письма шлет, и пьет с тоскою:
Мол, не пришелся ко двору...
И все же нового Кольцова
Откроют новые друзья.
А он в Таежке окольцован —
Его закрыть уже нельзя.

«БЫЛ РАБОЧИМ СТОЛОМ ВЕРСТАК...»

Видимо, наступают сроки, когда все чаще приходится обращаться к памяти о временах давно прошедших, отшумевших молодым ветром, и о днях не столь давних, которые дороги тебе счастливыми и горькими воспоминаниями о друзьях-товарищах и просто хороших людях, с которыми свела тебя судьба, с которыми долго ли коротко ли шел ты по жизни до какого-то непоправимого часа...

Полтора с лишним десятилетия мы были связаны товариществом, а потом и дружбой с Евгением Сергеевичем Буравлевым, известным сибирским поэтом, человеком интереснейшей и сложной судьбы, с кремневым характером тажика и чалдона, многосторонне одаренной личностью.

Начну с нашего первого знакомства. Случилось оно в начале 1959 года. Помню, в редакцию газеты «Кузбасс», в которой я работал тогда литсотрудником, пришел широкоплечий, чутьчку тяжеловатый молодой мужчина с красивым, будто вырубленным из камня мужественным лицом.

— Поэт Евгений Буравлев, — будто разглашая большой секрет, шепнула мне заведующая отделом культуры. И уважительно посмотрела ему вслед.

А поэт надолго засел в промышленном отделе, на диво тогда молодым и шумноватом. И вскоре туда потянулись журналисты из других отделов, в основном, тоже молодежь. Меня к промышленникам позвала Тая Шатская:

— Пойдем, познакомлю с Буравлевым. Интереснейший мужик. Поэт и строитель. Инженер Южсиба.

Таисия Алексеевна в ту пору только начала работать в «Кузбассе», после короткой журналистской практики в газете молодого города Междуреченска. Буравлев жил и трудился в Междуреченске. Там они и познакомились.

Первая наша встреча с Евгением Сергеевичем была недолгой, но запоминающейся. Мне сразу пришелся по душе этот малообщительный с виду, а в сущности застенчивый человек. Понравились его неторопливые рассказы о жизни строителей железной дороги, его ненавязчивый, я бы сказал, безулыбчивый юмор.

Несколько позднее я прочитал книгу стихов «Кладовискатели», первую в его творческой биографии. Некоторые стихи были крепко сколочены, покоряли жизненной достоверностью. Богатством наблюдений, силой характеров подкупала поэма «Кладовискатели», хотя в ней поэт не сумел еще выйти на стрелень художественной убедительности. Признаться, удивило и насторожило и то, что свою первую книгу Евгений Буравлев издал в тридцатипятилетнем возрасте, довольно солидном для поэтического дебюта...

В том же пятьдесят девятом году мы встретились снова. На этот раз на межобластном семинаре молодых поэтов. Семинар проходил в Кемерове. Руководили им сибирские поэты и критики; были гости из Москвы. Участники семинара — начинающие поэты Томска и Кемерова, большинству которых было едва-едва за двадцать, со вниманием выслушивали наставления своих старших товарищей. Молча слушал выступления руководителей и Евгений Буравлев, скромно притулившись в углу маленького зала. Помнится, тогда его больше критиковали, чем хвалили. И никто из нас, молодых, не догадывался в ту пору, что наш старший товарищ привез на семинар новую, великолепно сработанную поэму «Красная Горка», которую он так и не осмелился вынести на обсуждение. Вскоре эта поэма увидит свет на страницах газеты «Кузбасс», а затем — в журнале «Сибирские огни». Характерен ее подзаголовок: «Слово о моих земляках-кузнецанах, о любви и поэзии и о первом ковше угля». Она, эта поэма, будет для Евгения Бу-

равлева главным пропуском в Союз писателей СССР

В сорокалетнем возрасте Евгений Сергеевич закончит заочное отделение Литературного института имени Горького, станет профессиональным литератором.

В 1962 году поэт переезжает в Кемерово. Здесь он возглавляет только что созданную писательскую организацию области.

Мне не хотелось бы пересказывать жизненную биографию поэта. Ее основные вехи известны из предисловий к его книгам, в конце концов из справочников о творчестве кузбасских писателей. И все-таки на некоторых моментах биографии Буравлева я должен остановиться.

Родился Евгений Сергеевич в селе Гридино Калужской области в семье строителей-железнодорожников. После окончания средней школы по комсомольскому призыву поступил в Иркутское авиационное училище. А дальше — война. От начала ее и до конца — он в дей-

ствующей армии. Был трижды ранен. Последний раз при штурме бывшего фашистского города-крепости Кенигсберга.

В мае 1974 года, всего за несколько месяцев до кончины, Евгений Сергеевич захотел снова побывать в этом городе советской Прибалтики. Мужественный человек, он знал, что ему отпущены на земле недолгие сроки, тяжелая болезнь делала свое дело. Наверно, поэтому он хотел в последний раз досыта насмотреться на мир, на людей, на их дела. И поэтому колесил по стране, не считаясь со своим здоровьем. В этой поездке мы с поэтом Виктором Баяновым были его попутчиками. Запомнились наши длительные экскурсии по Калининграду, хождения по бывшим норам, убежищам и казематам эсэсовцев, которые в последних су-дорогах остервенело и бесславно удерживали город.

И вот однажды, когда мы стояли перед развалинами одного из фортов, который фа-



В Калининграде. Второй слева — поэт Е. С. Буравлев.

шисты считали неприступным, Евгений Сергеевич вдруг тихо сказал:

— Сколько тут полегло наших парней. И все-таки выкурили мы гадов из этого каменного гнезда. Тут меня ранило в голову...

Он замолчал. И мы не стали тревожить его лишними вопросами. Знали: он не любил вспоминать и говорить о войне. Да и стихов о ней у Евгения Буравлева мало, до заметного мало. Тяжелая память о войне, унесшей миллионы молодых жизней, очевидно, мешала поэту писать об этом, перебивала его дыхание. Однажды у него как бы через силу вырвется это признание. Вырвется обжигающее, беспощадно правдивое:

Я не пишу о войне:
Трудно писать о войне.
А уж кому, как не мне,
Строчку бросить на круг?
Летчику и стрелку,
Саперу и взрывнику,
Взводному в энском полку
Есть что сказать, мой друг.

Только не до строки
Там, где легли полки,
Там, где взята в штыки
Последняя высота.
Не срифмовать мне, друг,
Оторванных ног и рук.
Не срифмовать всех мук
И всех оставшихся там...

Перед самым нашим отъездом из Калининграда нас пригласили выступить по местному телевидению. И когда запись телепередачи уже подходила к концу, ведущий попросил Евгения Сергеевича, как участника штурма Кенигсберга, сказать несколько слов для телезрителей о теперешнем Калининграде, городе, восстановленном из руин и пепла. Поэт так разволновался, что долго не мог сказать ни слова. Это затянувшееся молчание привело к повторной видеозаписи, так как телевизионная техника была в то время, вероятно, не столь совершенна...

И еще в связи с этим я вспоминаю, что Евгений Сергеевич редко когда носил свои боевые награды, хотя их у него было не так уж и мало.

...После войны Евгений Буравлев несколько лет работает в Заполярье. Сначала в авиации,

потом на строительстве дороги Салехард — Игарка. В начале пятидесятых годов он приезжает в Кузбасс. И здесь он несколько лет трудится на строительстве. Вместе с тысячами парней и девчат сквозь таежную глухомань, горы и болота прокладывает дорогу Новокузнецк — Абакан. Последняя его рабочая должность на этой стройке — главный инженер комбината промышленных предприятий... Вот с каким жизненным багажом пришел этот человек в поэзию.

Новостройки в рабочих лесах...

Ветер поисков — в паруса...

Биография начиналась так:

Бы рабочим столом верстак.

Главный их двигатель — мысль. Но это вовсе не значит, что они холодны и рассудочны. Лучшая часть творчества щедро согрета теплом человеческого сердца. И не беда, что чувства его сдержанны по своей природе, зато ясно ощущается их глубина и значимость.

Сейчас, рассматривая все сделанное поэтом, отчетливо осознаешь, насколько весом и серьезен, насколько своеобразен творческий вклад Евгения Буравлева в поэтическую летопись Сибири. Я не ошибусь, если скажу, пожалуй, нет такого, который отдал бы столько сил и таланта рабочей теме в поэзии, теме, сложной и далеко не каждому доступной. Так что музу Буравлева без всяких ложных образных преувеличений можно назвать музой в рабочей спечковке.

И все-таки возвращусь к своей первоначальной задаче, продолжу рассказ о Евгении Сергеевиче, как личности, как человеке, который оставил неизгладимое впечатление у меня да и у многих других, кому случилось знать его близко или попросту сталкиваться с ним.

Расскажу о нем, как о таежнике. Его авторитет настоящего таежника для многих из нас был глубоко непререкаем. Мне, например, казалось, что он знает о тайге все. Он знал поименно ее деревья и травы, ее зверей и птиц, ее большие и малые речки, безымянные ручьи, горы, пади и топи. И он щедро делился этим знанием. Но что интересно, в отличие от других таежников, он не признавал охоту, я никогда не видел в руках у него ружья. Зато беззаветно любил рыбалку и понимал в ней

толк. Годы подряд с небольшой группой друзей мы отправлялись летом в самые глухие уголки Горной Шории, этого дивного заповедного края, и проводили на горных речках неделю, две, а то и больше. У нас никогда не было иных снастей, кроме удочки и спиннинга, но рыбы на хорошую уху мы всегда добывали.

О тайге им написано довольно много стихов и две маленькие книжки прозы, одна из них для детей. Книжки эти сразу же нашли своего благодарного читателя...

Евгений Сергеевич любил и умел шутить. Этот дар потом своеобразно отразился в его либретто для оперетт «Жемчужина Сибири» и «На крыльях мечты», поставленных в разных театрах страны. Да, он умел шутить и... сам легко попадался на шутку. При всей крутости и цельности характера в нем всегда жило что-то мальчишеское, непосредственное. Этим, наверное, можно объяснить его интерес к легкому жанру, к театру оперетты. Интерес поздний, но устойчивый и немного неожиданный для его друзей. Он любил музыку, танцы, песни, хотя сам, насколько я помню, никогда не пел и не танцевал. В театре он был своим человеком, артисты всегда радовались его приходу. В театре он и сам по-хорошему молодец, будто сбрасывал с себя на время тяжелый груз жизненной усталости...

Евгений Сергеевич обладал редкой работоспособностью. Писал чаще всего по ночам. Сколько раз бывало, что он просиживал над пишущей машинкой до утра, а после, отдохнув три-четыре часа, шел к новым делам в Союз писателей, а там уж работа и друзья, как правило, «закручивали» его до позднего вечера. Не умел он жалеть и щадить себя.

Весной 1972 года он втянул меня, Виктора Баянова и художника Николая Бурцева в продолжительную поездку по городам и селам Кузбасса:

— Поедем, посмотрим, послушаем, как дышит весной Кузнецкая земля, попробуем написать об этом книгу, большой репортаж в стихах, с иллюстрациями, — говорил нам он. — О хороших людях скажем доброе слово, о их делах.

И мы собрались в долгий путь. Почти месяц провели на колесах. Работали с полной отда-

чей. Газета «Кузбасс» из номера в номер публиковала главы лирического репортажа «Дыхание земли родимой», который должен был стать в будущем книгой. Должен был стать, но не стал. Этому помешала тяжелая болезнь, так неожиданно свалившаяся на Евгения Сергеевича, который был душой этого интереснейшего замысла. Дни работы над книгой-репортажем я, например, вспоминаю с большой внутренней радостью и удовлетворением. Думаю, что Виктор Баянов и Николай Бурцев испытывают те же чувства...

Евгений Буравлев много времени и сил отдал воспитанию новой литературной смены. За десять лет, которые он стоял у руля Кемеровской писательской организации, она значительно выросла и окрепла. И в основном за счет притока молодых сил.

Евгений Сергеевич любил молодежь, верил в нее и немного завидовал ее завтрашнему, да и сегодняшнему дню. Он безошибочно распознавал в молодом человеке одаренность, предвидел ее развитие. Я мог бы назвать несколько имен теперешних молодых литераторов, которые вышли к читателю с интересными книгами, получив первое «добро» и благословение от Буравлева. В его итоговой поэтической книге «Шестая гряда» есть отличное стихотворение «Как на шестой гряде от бани...», ярко свидетельствующее о вере поэта в новое молодое утро нашей поэзии.

Заканчивая этот небольшой очерк о сибирском поэте Евгении Буравлеве, я меньше всего хотел, чтобы у читателя создалось впечатление, что я стремился показать его идеальным человеком, лишенным обыкновенных человеческих слабостей и недостатков. Нет и еще раз нет! Сам Буравлев при жизни воспротивился бы этому. С присущей ему усмешкой Евгений Сергеевич говорил на эту тему так: «Поэт хорошо смотрится со стороны, немножко издалика, а вот с точки зрения его жены он вообще человек пропащий».

Евгений Буравлев прожил на земле всего пятьдесят три года. Прожил трудно и хорошо, оставив после себя заметный и добрый след на долгие годы.

Валентин Махалов.



БАЛЛАДЫ СУДЕБ

ОСЕННЯЯ

Сияли лучи, и лоснился побег,
и птицы счастливо блажили.
В их песнях, смеясь, находил человек
свое ощущение жизни.

Лучи потускнели. Поблекнул побег.
Их снова послушать пришел человек,
а птицы свистать перестали,
а птицы на юг улетали.

«Молчите?» — спросил он. Рассеянно снег
внимал человеческой причуде.
Сначала нахмурился человек.
Потом усмехнулся: «Пичуги!...»

И словно бы вызов им бросить хотел,
и даже с какою-то спесью
он вслед улетающим птицам пропел
корявую хриплую песню.

ОБ ОЖЕСТОЧЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Он с черной пеною у губ
отбросил лом тяжелый:
«Будь человеком», — «Не могу», —
ответил камень жесткий.

Он продирался сквозь тайгу
с заржавленной винтовкой:
«Будь человеком». — «Не могу», —
ответил зверь жестокий.

И крикнул он: — А я могу
и камнем стать и зверем!
Я — человек. Я все могу...
И камнем стал и зверем.

Возникла мать в его мозгу.
Взмолилась мать руками:
«Будь человеком!». — «Не могу...» —
шепнули Зверь и Камень.

О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

О нем и в глаза и заспинно
твердит коллективный язык
кокетливо: — Милый мужчина,
солидно: — Приличный мужик.
И весело — днями рожденья:
— Под знаком счастливым рожден!
Какая душа в учрежденье
ему не открылась! А он?...
А он не рискнет и с женою,
с которой полжизни прожил,

делиться, какую ценою
оценку молвы заслужил.
И ждет, хоть и виду не кажет:
вот-вот всемогущий актив
прозреет... и медленно скажет:
куда же смотрел коллектив?!

Казнится — приличный и милый, —
казнится — мужчина, мужик, —
что стал он живою могилой
страстей — и своих и чужих.
Заропщут они. И опять он,
робея, предается мечтам:
того, кто ему неприятен,
пошлет он открыто к чертам!
Потом расхоронит секреты
поссорившихся сторон...
Но крестик он ставит на это...
«Под знаком счастливым рожден!»
Супруга его раздражает... —
Твердит про какой-то наряд...
Но плюстик не разрешает
ему минусовый разряд.
О том и о сем посудачит... —
какой-то роман... сарафан...
И в ванной тихонько поплачет,
открыв с облегчением кран.

СЕМЕЙНАЯ

Машина времени.
Был юн мужчина.
И женщина его была юна.
Лица коснулся —
пролегли морщины...
Волос коснулся —
пала седина.

Что я наделал?! —
в страхе отшатнулся...
Она сказала:
— На себя взгляни.
От голоса враждебного
очнулся
и вспомнил:
промелькнули дни и дни...

И что иная для него
прекрасна
езда:
в неделю раз преодолеть
на городском автобусе пространство,
побыть у мамы
и... помолодеть.

ТАЕЖНАЯ

Дичишься ты меня, тайга:
откуда он и кто такой он?
Куда он к лесу на рога?..
И я дичусь твоих диких.
Какая мощь! Грибов гурьба...
И неприрученных деревьев
междоусобная борьба...
и кучка жалких птичьих перьев.
А здесь лосиные рога
сшибались сладко и жестоко...
Люблю ли я тебя, тайга?..
По крайней мере не настолько,
чтоб представлять себя сосной,
хозяином ли

костяной,
считай, пожизненной короны...
Еще таежные законы
в крови сородичей живут,
еще, поработив скотину,
ее по праву сильных бьют,
а рукотворную машину,
как плоть от плоти, берегут.
Но дед молился на ружье,
а я пришел не из корысти...
Возьми из нас, тайга, свое
и голубиное, и рысье...
Побег я твой, тайга, побег
туда, откуда возвращаясь,
я стал настолько человек,
что снова думаю, прощаясь:
а вот сосна бы стала мной...
Я сам когда-то был сосной.



Евгений Харламов

* * *

И хотя я из города родом,
За лопату с мотыгой берусь.
Огородником и садоводом
Основательно я становлюсь.

Основательным занятый делом,
Я склоняюсь над грядкой сейчас,
Чтобы овощем, тяжким и спелым,
Разродилась она, и не раз.

Чтобы солнечно-белые хрусты,
Исходящие от огурца,
От сверкающей влажно капусты
Были праздниками без конца;

Были радостным гимном заботам
И светили, как звезды во мгле...
Огородником и садоводом
Становлюсь на весенней земле.

* * *

О чем он плачет, несмышленный?
О том ли, что над головой
Мир и огромный, и бездонный,
И грозовой, и роковой.

О чем он, несмышленный, плачет?
Ведь не дано ему понять,
Что день грядущий обозначит,
Что ночь захочет нашептать.

Его неясные тревоги,
Конечно же, не стоят слез,
И далеки еще те сроки,
Когда заплачет он всерьез.

ПАМЯТИ А. Н. ВОЛОШИНА

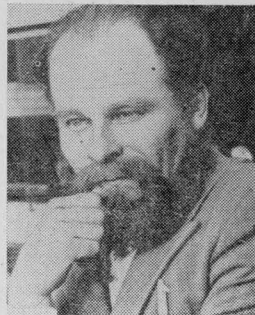
Посох-палка... Величавость старца...
Гордо вскинутая голова.
Я ему сходил за ординарца
И ловил мятежные слова.

Обо мне он знал едва ли много,
Но его Кузнецкая земля
И меня испытывала строго,
Радуя, печалю, веселя.

...Мы идем не берегом, а — бременем.
Нас волнует вовсе не вода...
Очень деликатным человеком
Помню я Никитича всегда.



ДВА РАССКАЗА



«ЛЕТЯТ УТКИ И ДВА ГУСЯ»

Оказывается, степень раздражения от дорожных мытарств зависит от причин, побудивших тебя в дорогу. А поскольку у Георгия Серпухова причины были самые благодные и поспешности не требовали, то отсутствие Петуховского автобуса его не очень огорчало. Маршрут официально закрыт не был, говорили, что утром одна машина уходила, правда, не вернулась еще. Серпухов предложил Косте пойти на розыски гостиницы. Дело шло к вечеру, и с утра можно будет заняться транспортной проблемой.

В гостинице (два этажа в рабочем общежитии) мест, конечно, не оказалось. На счастье в коридоре возле дежурной стояло несколько стульев, на один из которых Серпухов и сел в ожидании. Костя же, в силу возрастной нетерпеливости, решил вернуться к автовокзалу.

Всего несколько недель назад Аэрофлот перенес Серпухова из снежной Воркуты к зеленому южному апрелю, весело встретив-

шему его плеском лечебных родников и обещанием блаженного курортного безделья. Однако по расписанию, составляемому судьбой без учета наших желаний, неожиданно приступил час спешно собираться Серпухову в другую сторону от дома — в Сибирь, где в маленьком шахтерском городке жили его родители, вместе с ними и Елизавета — дочка Серпуховых, которая, как сообщалось в телеграмме, полученной Георгием от жены, собиралась выходить замуж.

И вновь поднял его в небо самолет и понес из лета навстречу весне. Она долго где-то плутала в этом году, и только за несколько дней до прилета Серпухова успела сама приземлиться в сибирском городке, рассадив по тополиным веткам взлохмаченных скворцов, не успевших еще разместиться по скворешням после возвращения из-за моря.

А то, что сегодня сидел Серпухов в неприятном коридорчике Лисогорской гостиницы, за восемьдесят километров от родительского дома, в котором и погостил-то всего неделю, судьбу винить было бы грех, поскольку уже

не безотлагательные обстоятельства, а «серпуховская блажь» — как заметила мать — погнали Георгия по весенним хлябям в эти края...

«Блажь», по убеждению матери, была будто бы наследственной серпуховской чертой и шла еще от деда, удивившего когда-то покупкой велосипеда всю Михайловку, ту самую деревню, в которую нынче добирается Георгий в сопровождении Константина — своего будущего зятя. С уездной ярмарки, откуда мужики везли мануфактуру и всякий полезный в хозяйстве железный инвентарь, серпуховский дед привез в тарантасе «машину о двух колесах» по цене, равной корове! И за отцом, по рассказам матери, числилось немало «блажных дел».

— Помнишь, отец, как вы с Тимофеем на коней поспорили? — как-нибудь в разговоре, да еще при гостях, бывало, вспомнит мать.

— Выдумывай, выдумывай, — буркнет отец, держа в сдвинутых к переносице бровях нарочитую суровость.

— А ничего и не выдумываю, — разгорячится мать, — у меня тогда еще была батистовая кофточка, рукавички — фонариком, помнишь?..

Сколько же таких вот «помнишь» за свою жизнь слышал Георгий? А то еще, случалось, размечтается отец, обычно после получения письма от его родственников.

— Соберемся как-нибудь да и махнем в отпуск в Михайловку. Должен ты, Гоша, родину поглядеть!

Но подходил отпуск, отец уезжал в Крым, на Кавказ, Георгия определяли в пионерский лагерь. А потом и совсем редко стала поминаться неведомая деревня. И все-таки михайловские истории, да и сама она, сказочным ароматом деревенского дома не то полузабытого, не то совсем невиданного, лелеялись, под детски празднично высвечивались в затаенной глубине воображения Георгия.

Еще в тот момент, когда Серпухов наконец увидел свою дочь, он не предполагал, что его детская фантазия так близка к реальному осуществлению. Разговор у Серпуховых, естественно, был только о предстоящей свадьбе. Клавдия, жена Георгия, сердито одернула све-

кровь, описавшую приметы Елизаветиноного жениха, странным образом оказавшимся еще и родом из Михайловки.

— Чего ты, мама, радуешься? Девчонке бы погулять, осмотреться, едва паспорт получила, а ты радуешься. Могла бы хоть попытаться отговорить. Сама же писала, что она хотела в институт поступать. У нее ветер в голове, для себя рубашки не стирает, а туда же, невеста!

— Так что же? — засмеялась мать. — Ты, Клава, не сердись, дело прошлое, но мы отговаривали Гошу жениться. Да, да, извини, но что было, то было. Тоже говорили, сынок, ты же учиться хотел. И что вышло?

— А что вышло? — в голосе Клавдии зазвучали нотки растерянности, она не ожидала такого поворота дела. — На что ты намекаешь?

— Хорошая семья, — мать сделала вид, что не заметила волнения невестки. — Я и говорю. Надо на жизнь смотреть как она есть. Пришла пора, значит, и девочке. Вырастили, учили внучку, чего ты еще хочешь?

Еще учась в школе, когда родители собирались ехать в Воркуту, Елизавета, конечно, на радость бабушке, захотела остаться со стариками, тем более, что собиралась поступать в медицинское училище в Кузнецке. Закончив училище, добилась направление в Тополинск, обещая в первый же отпуск приехать в гости к родителям, однако же все вышло наоборот.

...Елизавета пришла домой вместе с женихом, когда совсем уже стемнело. Она из-за порога разглядела отца, швырнула на пол сумку, повисла у Георгия на шее.

— Какой ты, папка, молодец! Приехал! Ура! А я совсем забыла уж тебя, а ты все не едешь и не едешь! — весело выговаривала дочь свою детскую присказку, которой встречала отца еще в дачных домиках, куда за реку, в черемуховые заросли, в клеверные поля, возили на лето шахтерских ребятшек.

— Познакомь отца, Лиза! — шептала из-за серпуховской спины улыбающаяся бабушка.

Юноша чуть зарумянился, но не смутился, не растерялся, протянул Серпухову руку, ладонь оказалась широкой, крепкой, тугой. Про

себя Серпухов отметил, что Клавдия права: совсем школьный вид у жениха. А бабушка уже приглашала всех к столу.

Серпухов совсем не специально, но — так уж у него выходило — осторожно наблюдал за парнем, который держался по-домашнему. От вина он отказался. Точнее, об этом объявила дочь, и пояснила, что Костя — мастер спорта по спортивной ходьбе, он «на режиме». Серпухов, хоккейный телевизионный болельщик, к спортивной ходьбе относился скорее всего скептически, но вслух об этом говорить не стал, зато зарубинка в памяти какая-то легла, по-отцовски приглядывался к парню Серпухов, осторожно, может быть, даже оборонительно.

Вино, привезенное Георгием, старый Серпухов разлил в серебряные, с тонкой гравировкой, рюмки старинной работы — семейная материнская реликвия — и, как подобает, первую рюмку выпили за знакомство, а когда дед налил второй раз, Георгий спросил, прежде чем выпить:

— Так какие у вас, ребята, планы? Может быть, все вместе к нам поедem жить? У нас на шахте работа найдется. На свой участок устрою — предложил Георгий.

Однако ему тут же возразила мать:

— Это куда, к вам? Вы что, в той ночи так и собираетесь вечно жить? Я думаю, что комнате, если им дадут, дети пусть берут, она лишней не будет, а первое время, мы с дедом так порешили, будут они жить у нас. Ведь кто-то должен будет за маленьким присматривать.

— За каким маленьким? — удивилась Елизавета. Наивный вопрос ее у старших Серпуховых вызвал улыбку, а у бабушки — веселое замечание:

— После свадьбы, деточка, рождаются дети маленькие. И надо не одним днем, Клава, жить, уж сколько раз я вам говорила, — обратилась мать к снохе, предполагая ее инициатором предложения сына. Она вообще относилась предвзято к Клаве, когда дело касалось Елизаветы, забывая, что не она, а Клавдия — ее мать.

Та в долгу перед свекровью не любила оставаться и, не без иронии, заметила, что никто и не собирается отнимать у нее внуку,

тем более что раз они вдвоем с ней все решили, так и остальное зависит полностью от них, но места в квартире Серпуховых (как-никак — три комнаты) хватит на всех.

Елизавета, с детства привыкшая мирить бабушку с матерью, и в этот раз поторопилась вмешаться, громко вступив в разговор:

— Пап, а Костя с отцом на медведя охотился и ко дню рождения обещает мне подарить медвежью шкуру. Верно, Костя?

Разговор и в самом деле повернулся. Георгий стал расспрашивать парня о Михайловке, о родителях. Оказалось, что жили они в деревне на Боровой улице, дальше от речки. Их всего две в Михайловке, как было, так и осталось.

Смутно забрезжила в памяти какая-то неприятная история, связанная с магазином и с продавщицей Фросей. В лицо ее, конечно, не помнил, а вот хорошо запомнилась порка, которую ему устроил отец за то, что побил он, пацан, окна в магазине. Видно, кто-то из старших подучил его.

— А что, батя, не махнуть ли нам на родину? — шутя предложил Георгий. Исподтишка оглядел он своих стариков. Широкие отцовские плечи угнули грудь, тяжестью выгорело спину, коротко стриженные волосы пожелтели у корня. Всегда молчаливый, он теперь будто и вовсе разучился говорить. — Дом наш наверняка стоит, может, кто в нем и живет. Самолетом до Верх-Амзаса, а там рядом, по воде, на лодке.

— А чего дому-то не стоять! Сам срубил, сам лиственницы выбирал в тайге, — отец прищурился, — только какой из меня нынче летун, сынок; да хоть и в лодке. На воде сто лет не бывал. Отлетался я, а вы что, конечно, возьмите и съездите. А дом стоит, не делается ничего, — с обидой и задористо сказал отец, но Георгий расслышал спрятавшуюся за бодрими словами тоску, и жалость кольнула в сердце.

— А я в четверг опять собираюсь домой, — сказал молча слушавший Костя, — у меня большой выходной да два отгула. Почти неделя получается. Можно бы вместе поехать. Лиза, может, отпросится. Мы с ней собира-

лись позднее, на ягоды, но раз так — здорово получается!

— Конечно, здорово, — подхватила дочь, — я попробую старшую уломать. Родители приехали, скажу. Она у нас добрая, поймет: правда, папка, давайте вместе съездим...

— Это как же вы собрались, люди добрые? — Клава, конечно, слышала про эту Михайловку, но она для нее всегда была мифом Гошиного детства. — Туда как попадают-то? Да и кто вас там заждался? — трезво рассудила она.

— Не умеем мы родню водить, — со вздохом сожаления заметил Серпухов-старший. — Сколько годов с Ларионом рядились свидеться? Он хоть к нам перед самой войной на два дня приезжал, а мы с матерью и не выбрали поглядеть на родной угол. А теперь, Гоша, твои братья там живут. Да и с новой родней встретиться не мешает.

Клавдия была решительно против:

— Где это видано, чтобы родители невесты ехали первыми знакомиться? «Здрате вам, продавцы со своим товаром», а? Нечего пока нам там делать, и все!

Но неожиданно Серпухов заунырился. Может быть, его подталкивало смутное желание поближе узнать Елизаветино избранника, этого не очень разговорчивого, но, как ему показалось, и не слишком застенчивого парня.

— Мы с Костей поедem. Елизавету не возмем. Поедем вдвоем.

Жена и мать в один голос утверждали, что отцу невесты неприлично первым появляться в доме жениха, но Серпухов отговорился тем, что он едет навестить двоюродного брата, кстати, которого он и вовсе не помнит, а уж насчет знакомства со сватами, — как получится.

Вот тогда-то мать и сказала сердито:

— Это серпуховская блажь, Гоша!

...Константин шумно ворвался в дверь гостиной и с порога радостно закричал:

— Нашел, Георгий Иванович, пойдемте, «попутку» нашел! На автовокзале стоит, за углом, пойдемте! Крытый грузовик Петуховского рабкоопа!

Шофер не очень приветливо оглядел подошедших пассажиров, обошел машину вокруг, пнул ногой заднее колесо. Костя поторопился подтвердить:

— Как договорились, «красненькую», отец.

«Отец» — мужик неопределенного возраста, лет от тридцати до пятидесяти, густо кудрявый, темнотлицый, усмехнулся, открыв дверцу заднего борта.

— Лезьте вперед, к кабине, там скамейка. Груз там, он вам не мешает. Ну, если что, постучите, — закрывая дверцу, посоветовал он.

О том, что они на пути к Петуховке, почувствовали скоро. Машину начало кидать по ямам и ухабам, а ящики и бочки, до того плотно, казалось, набившие кузов, вдруг ожили, угрожающе задвигались, норовя придавить сидящих на узенькой доске около кабины Серпухова и Костю. Они упирались ногами, отталкивали, удерживали их, все в кузове прыгало и катилось. Когда же временами наступало затишье, то есть машина на некоторое время переставала переваливаться с боку на бок, обыкновенную тряску они воспринимали как божью благодать. Но не так уж много было таких передышек. Поэтому и не заметили, провоевавши несколько часов в самообороне, что добрались до Петуховки. Узнали об этом, когда машина вдруг сбавила скорость, отчего громко и прерывисто загудел мотор, потом запетляла и наконец совсем остановилась. Потом послышался скрип вставляемой в замок ручки, и дверца распахнулась.

— Живые! — не то спросил, не то удивился шофер, — выгружайтесь, приехали.

Серпухов спрыгнул, охнул от неловкого приземления на занемевшие ноги. Повел плечами, разгоняя застоявшуюся кровь, огляделся.

Густо вечерело. Машина стояла около высокого дощатого забора с распахнутыми настежь воротами. Забор в притык примыкал к магазину, уже светящему желтыми окнами на неширокую, сжатую с боков заборами площадь, покрытую густо замешанной, с редкими кирпичными крапинками грязью.

— Семеныч, приехал? — кто-то из стоящих на крыльце окликнул шофера. — Подсобить?

— Потребуется, крикнем, — закуривая предложенную Серпуховым сигарету, отозвался тот. — Воронье. На бутылку выпрашивают. Ждут специально... — и поинтересовался: — Вы чьи будете?

— Нам, вообще-то, в Михайловку надо, — объяснил Костя.

— Ну, мужики, — протянул с укоризной шофер. — Вам бы тогда надо было у заправки сойти. Там, глядишь, еще и дождались бы кого. Да и то вряд ли. По такой погоде днем негусто, а уж ночью и думать не могли...

— Может, дом заезжих имеется? — без особой надежды поинтересовался Серпухов, — бывает — при конторах...

— Это, может, где и бывает, но не в Петуховке, мил человек. Но одну гостиницу я тебе предложить могу, если она не занята. Видишь, — он показал на забор, за которым высоко раскидали по вечернему небу толстые серые сучья талины. — Бабка там одна живет. Она должна быть сейчас в магазине. Пошли, спросите.

В это время из ворот показалась женская фигура. Голова платком повязана до самых бровей; в фуфайке, обута в валенки, поверх них глубокие резиновые калоши. Она подошла ближе, и разгляделось ее лицо: с крупным, нависшим над губой носом, словно бы потрепавшееся, так густо затянули его морщины.

— Вот она, — бросая папиросу под ноги, сказал шофер и окликнул:

— Слышь, Варфоломеевна, постояльцев привез, примешь? Поди не обидят.

— На меня уже обижалки кончились, — голос у бабки был громок и хриловат. — Спать-то где? На полу только, перин нет. Деньги вперед.

— Да нам бы крыша, — согласно и как можно обходительнее сказал Серпухов, боясь, как бы бабка не раздумала.

— Тогда пошли! А ты, Семеныч, сам ворота запри, как машину загонишь. Я возвращусь счас, — и шагнула напрямик в грязь.

Подхватили свои портфель и рюкзак Серпухов с Костей. Георгий, сделав несколько шагов, обернулся.

— Семеныч, — тот сидел уже в кабине машины, — приходите, поужинаем вместе! — и

тут же у бабки поинтересовался: — Ничего, гостя пригласил?

— Так он бы и без зова зашел. С рейса ему норма полагается. Надежда его знает. Он мужик аккуратный. Ума не пропадет...

Избу с улицы загораживал высокий сарай. Она увиделась внезапно — да такая малая, что Костя от удивления присвистнул. Из-под островерхой замшелой крыши, будто придавившей широкие, лопнувшие от старости бревна сруба, из разорванных дождем и морозом кружев наличников избушка глядела в сумраке небольшим окном.

Чтобы войти, гостям пришлось чуть ли не поясню поклониться. Только протолкнувшись сквозь сенки в самой избе, распрямились. Бабка, пройдя первой, распорядилась:

— Раздевайтесь, отдыхайте пока, курите — сама дымлю, а я побежала. Опосля разберемся, что почем. — Уходя, щелкнула выключателем. При свете оказалось, что изнутри изба не так уж и мала. Печка делила ее на две половины. В первой стоял стол, современный, с тумбочкой, крытый пластиком; узенький белый шкафчик висел на стенке. В другой почти все пространство занимал диван, прижав в угол телевизор, рядом с которым теснились еще и сервант, заставленный рюмками, чашками, тарелками.

— Бабка при порядке, — оглядевшись определил Костя. — А с улицы прямо изба на курьих ножках! Да и хозяйка: вылитая баба-яга, Георгий Иванович?

Они разулись, сняли плащ и куртку, повесили на вешалку, втиснутую между дверью и окном, и, не проходя в «комнату», сели на табуретки около теплой печки.

Хозяйка вернулась не скоро. Пришел с ней и Семеныч.

— Здравствуйте вам, — приветствовал он из-за бабкиной спины, — вот привез сам, сам и в гости пришел. — Он аккуратно поставил на пол под вешалку большую, видимо, тяжелую сумку, неторопливо снял кожаную куртку, повесил на вешалку и потом уже присел к столу напротив курящего Серпухова. Хозяйка тоже, взяв с печного приступка пачку, вынула из нее папиросу.

— Может быть, закусим?— Серпухов поднял с пола портфель, вынул из него бутылку водки, две банки консервов, завернутую в целлофан курицу, положенную матерью, полбулки хлеба.— Стаканчики, хозяйка, найдутся?

— А отчего не найтись?— Бабка наблюдала за постояльцем, выпуская густо дым из ноздрей.— Ты консервы-то убери. Живой еды найдем. Не в городе живем,— с этими словами она вышла в сенки.

Семеныч для начала разговора полюбопытствовал:

— Дела важные в Михайловке? Нынче просто так по распутице не попрешь. А нужна, она погоды не спрашивает, погоняет.

Серпухов неопределенно сказал:

— Да есть делишки.

— У всех нынче делишки,— Семеныч, может быть, и о чем-то своем подумал.

Вернулась хозяйка, неся большую чашку огурцов, капусты, кусок сала.

— Вынь-ка колбаски из сумки у меня, Варфоломеевна,— подсказал Семеныч,— да долго не гоношись. Сама знаешь, идти надо. Утром опять гнать: Галина, путаница-ветреница, накладную опять же на растительное масло забыла, все ойкала, платье ей там надо было выкупить какое-то. Ну вот завтра и поедем снова торговаться,— открывая бутылку и ставя ее на стол, объяснял Семеныч.

— А ты наливай сразу,— пододвинула к нему хозяйка стаканы. Она выпила медленно, поставила стакан, вилкой подхватила капустный лист, заметив, что Костя не пьет, спросила:

— Желудочник?

— Желудок железо варит,— засмеялся тот,— не пью — и все!

— Ишь ты,— удивилась бабка,— ноне таких молодцов что-то не встречала. Может, из баптистов? Так отец — нормальный мужик.

При ее последних словах Костя хихикнул, но взглянув на Серпухова, застеснялся, покраснел. А тот, прожевав, объяснил:

— Мы, мать, пока еще не родня. Едем, правда, в одно место. В Михайловку.

Старуха оживилась, в хрипоте ее послышалось искреннее любопытство.

— Ты чего же забыл в Михайловке? Жильцов там полтора старика осталось.

— Приходилось там бывать?— удивился Серпухов, хотя здесь земляки уж в диковину не должны были быть.— Может, и Серпуховых кого знает? Например, Савелия? Он — мой двоюродный брат. На пенсию уходит. Вот попроведать еду!

— Савелий на пенсию?— удивилась хозяйка.— Да я же...— но в это время заскрипела сенная дверь, кто-то толкался в темноте, пока не нашарил ручку изъямной двери. Мужик переступил через порог.

— Сколько вас, не надо ли нас?— втиснулся он в избу, подталкиваемый сзади.

— Вернулись, ханыги? Запозднились чего?— встала из-за стола хозяйка.

— Дак, на протоке растаскивали затор, подь он весь...— мужик в сердцах выругался.— Ты уж не тани, Варфоломеевна, ребята извелись. Тут в тепле, мухи не кусают...

— Пошли, пошли,— вытолкала вошедших хозяйка.— Лясы нечего точить, а то раздумать могу,— с этими словами она плотно закрыла за собой дверь.

— Это речники, ребята леса сплавляют. Ну вот, к ужину требуется. Всяк же живой человек, понимать надо,— рассуждая, Семеныч разлил оставшуюся водку.— Дома ждут, понимаешь, да с утра в рейс. Ну, благодарствуйте за угощение, а с утра к заправке, знаете, где она?

— Я знаю. Приходилось не раз бывать,— сказал Костя.

— Ты вправду, парень, не по болезни не пьешь-то?— Семеныч уже оделся и стоял в двери.

— Он спортсмен, мастер спорта,— объяснил Серпухов. Вошла хозяйка.

— Пошел, Семеныч? Ну с богом! Дома скажи, мол, у Варфоломеевны почаявничал, ничего, скажи!— Она достала с печи папироску, закурила. Подсела к столу. Пододвинула тарелку с салом к Косте.

— Ты, сынок, коли нежелудочник, ешь домашнее сало, полезное. А наелся, так включай телевизор. А мы еще посидим, как вас звать-величать-то?— обратилась она к Серпу-

хову и прищурилась, не то ей дым попал в глаза, не то таясь чего-то.

— Георгием Ивановичем. А вас? Отчество-то — Варфоломеевна.

— Ефросинья. Ефросинья Варфоломеевна. Давай-ка мы с тобой, Иваныч, выпьем за знакомство. У Савелия, значит, юбилей говоришь?

— Случайно не знакомы ли?

— Знакомы, жила я в Михайловке.

— Мы тоже оттуда. Может быть, и моих стариков помните? Дом наш сразу за школой, против магазина стоял. — Говорят, я в том магазине окно разбил. Единственно, что осталось в памяти, как отец солдатским ремнем порол... Можно сказать, первую землячку встретил, вот Кости если не считать...

— А родители-то живы?

— Вы их знаете? Живы, живы. Внуку, то есть мою дочку, замуж собираются выдавать. А вот он, — Серпухов указал на увлекшегося телевизором Костю, — будущий зять. Родом же из Михайловки, а по специальности — шахтер, как и я...

— Выходит, ты Иванов сын? Братья есть?

— Сестренка младшая, Галина.

— Так, значит, ты тот самый Гошка?

Теперь уж Серпухов пришел в восторг от того, что хозяйка узнала его. И с умилением — еще и от выпитого расчувствовался — глядел на старуху. Ее длинный нос покраснел, густые седые волосы, скрученные в узел на затылке, у висков растрепались, но необычно молодо, как-то отдельно от всей дряхлости лица глядели большие, чуть выпуклые глаза. Опершись о стол локтем руки, держащей папиросу, она откинула голову назад, словно бы приглашая Серпухова внимательно приглядеться к ней.

— Ну, а на гитаре-то отец еще играет? — после длительной паузы задала она вопрос, удививший Серпухова, так как о музыкальных способностях отца он никогда в жизни не слышал.

— Ну, милая хозяйка, вы нас с кем-то спутали. В нашем доме никаких гитар не водилось испокон. Может, у дяди Иллариона?

Старуха, пропустив ответ его мимо ушей, спросила:

— Что же, так у вас о Михайловке и раз-

говору не было?

— Как это так? — Георгий чуть обиделся. — И мать рассказывала, как по ягоду ходили. Отец вспоминал, как с братьями охотились, про дядьку, который гулять любил. Так что...

— Последний раз-то давно там был?

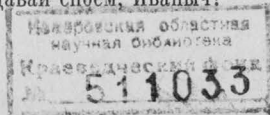
— Да, так вышло, что, как увезли пацаном, все не получалось съездить. Сам я шахтер, на севере работаю. Дочка у стариков в Тополинске живет. Говорю, замуж собралась. Отпуск у меня большой, я и решил брата повидать, на родине побывать, вот с Костиными родителями надо познакомиться.

Все то время, что Серпухов говорил, старуха внимательно смотрела на него, но чувствовалось, что мысли ее заняты далеко не его рассказом. Она поэтому и перебила его, поднимаясь из-за стола.

— Ты подожди, сынок, я скоро, — встала она, опершись о столешницу скрюченными ревматическими пальцами. Пошла из избы не то чтобы нетвердой походкой, а как-то осторожно, словно бы оберегаясь чего-то. Вернулась она с непочтой бутылкой.

— Нет, нет, — запротестовал Серпухов, — это не по мне, мать. Причины для гулянки вроде бы и нету.

— Тебя не неволят. За шиворот лить не стану. Раз гость за столом, я по-хозяйски должна. Может, осуждаешь за тех мужиков, что приходили? Так я шибко не барышничая. Всего по пятерке и беру. Люська-продащица упростила. «Надоели они, говорит, мне, спасу нет. От мужика отрывают по ночам». Иди магазин отворяй, а он на пломбе же! Самой ей на дому держать не с руки: хозяин ее в питье сам неумный. И я у нее вроде филиала получаюсь. А мужики-то — сплавщики. За день по гальке да зарослям сколько километров отмахают, сколько кубиков посталкивают. Сегодня они засветло. А то всегда в темень на свою баржу. Дом водяной, сундук смоляной, сам холостой... Помахай день багром! Выпьют — полегчает. А не полегчает, так померещится, вроде полегчало. Померещится-то, померещится, — задумчиво глядела на Серпухова старуха, — а на душе станет ли легче?.. Давай споем, Иваныч?



Она как сидела в задумчивости, так и осталась. Только едва заметно выпрямилась в спине, что-то молодое появилось в ее осанке.

— Ты только не суди! — предупредила она Серпухова, и неожиданно в горле у нее захрипело, потом прорезался чистый высокий голос: «Летят утки, летят утки, и два-а-а гу-у-ся-я...» Но надломился, запнулся звук этот в хрипоте, только не совсем, местами проби-вался, и тогда удивительно пронзительно, до слез жалостно звучало. «Ко-го-о лю-ю-ю-блю, кого лю-у-блю, не дождуся-я». Но хрип за-волакивал, глушил.

Костя, оторопело оторвавшись от теле-визора, оглянулся в их сторону, улыбнулся и, поерзав, устроился поудобней на диване, про-должая досматривать кино.

— Нет, Иваныч, — нос у старухи еще боль-ше покраснел, волосы растрепались. Укатали сивку крутые горки... А певунья была. Час-тушки сочиняла. — И теперь уже с повизгива-нием запричитала: «С неба звездочка упала, загорелась в поле рожь! С гармонистом цело-валась, милый, ты меня не трожь!»

В больших глазах старухи засветилась не то невысказанная тоска, не то радость воспо-минаний. — А как пела, сыночек, так и жила. А жизнь не песня. Песню я тебе и плача ве-селую спою, ну, а попробуй в жизни минутку единственную в другой раз прожить, переина-чить, попробуй... Увидишь, эдак не бывает...

Вот гляжу я на тебя. Совсем не узнаю. Ты, видать, на мать много схожий. Я сроду бы не подумала, что будем, Гоша, с тобой вот так у меня за столом сидеть.

Помнится, мальчонка ты был белоголовый, кудрявый. Сжелта чуток, под вид овсяной со-ломки волосы... Барбариски, были такие кон-феты, любил...

Серпухов на хозяйку глядел уже с откро-венным любопытством. Она, безусловно, по-чувствовала это. Усмехнулась, подняла стакан.

— Значит со свиданьем!

— Память у вас, Ефросинья Варфоломеев-на, отменная, — выпил и Серпухов.

— Не скажи. Что втемяшилось в молодос-ти, держится. А так не очень. Может, из-за этой памяти я и сплавщиков привлекаю. Они мужики по натуре сильные, а в жизни — ку-

тятя, вот двадцать человек будет на барже и всякий такой перепутанный, такой маяный, у самих все переломано, и другим от них не-сладко... Так вот и у меня было, Иваныч. Ты не серчай на старуху, хочешь расскажу? Дак и не хочешь, послушай, торопиться некуда...

Старуха склонила голову к плечу. Взгляд ее уперся в столешницу, словно бы за ней виделось неразглядное.

— Я в молодости красивая была, певунья. Поверь, врать не стану, у Савелия попытаешь опосля. Но и, по справедливости скажу тебе, строитывая... А у нас в Михайловке мужики, парни все больше по сплаву промышляли. И вот вышел у меня такой случай...

Невероятным казалось Серпухову: эта со-сматым, красноносый лицом старуха когда-то была румяной, звонкоголосой?

А она вспоминала:

— Да я тебе, Иваныч, карточки покажу. Там все наши деревенские, пойдем, на диван сядь, а я счас.

Она достала из серванта несколько толстых старых альбомов с потрескавшимися, выцвет-шими, когда-то обшитыми бархатом, корочка-ми. Уселась рядом с Серпуховым, вынула по-желтевшую фотографию круглолицей — коса вокруг высокого лба, платье с высокими пле-чами и смешным воротником — красивой де-вушки. Ничего общего с той, которая сейсас держала эту фотографию в руках.

— Ну, вот, видишь, — прищурившись, ста-руха рассматривала фотографию тоже будто бы сторонним взглядом. — Парни, конечно, увивались, отбою не было. А я одного выгя-дела. Любить любила, а вот игралась им, спасу нет. Больно он тихий был. Силища медвежья, а с девкой все краснел да робел. Я его и драз-нила. То с кем с гулянки уйду, а то у нас в школе кружок сделали, играли мы постановки, так любила я в этих постановках с парнями целоваться...

Старухе, видимо, приятно было ворошить прошлое. Она одну за другой перебирала фотографии. Серпухов глядел на незнакомых, в непривычных одеждах людей, а она расска-зывала о том, как однажды, когда ее парень

вернулся со сплава, ему наговорили о ней всякой всячины, и тот, поверив, рассердился на нее, а она еще и гордая была, чтобы оправдываться.

В ту пору в школу приехала новая учительница. Стриженная под «фокстрот», со значком «Ворошиловский стрелок». При этих словах Серпухов подумал: видно, глубоко за живое задела старуху та учительница, что спустя столько лет такие мелочи не забыла.

А бабка как раз фотографию вынула.

— Это вот мы в районе, на смотре. Со своей «постановкой» ездили. Мальчишка, что вот в этом углу видишь, как раз и есть Савелий, брат твой, — ткнула она негнущимся пальцем в худенькое личико.

Брата Георгий, конечно, не помнил, но сейчас, под впечатлением рассказа бабки, ему показалось лицо это отчетливо знакомым, как и ее, сидящей в центре. Теперь он сразу узнал хозяйку в улыбающейся и как будто прощающе смотревшей оттуда, из незнакомого далека... А она продолжала свой рассказ. Сплавщик ее, конечно, женился. Уехала из Михайловки, вышла замуж и она. Но не по-жилося с мужем, ребенок умер, она вернулась в Михайловку, стала работать в магазине. Не сладко жилось и ее сплавщику.

— В Михайловке пихтоваренный завод открыли. Мужики многие на него устроились. На-ко, узнаешь? — Протянула она фотографию, на которой было изображено трое парней. В одном из них узнал отца. Дома он видел фотографии молодых родителей, но такой не было. Отец сидел на стуле, нога на ногу, на колене — гитара, а двое парней стояли по бокам.

Серпухов даже ждал, хотел уже спросить, отчего это нет фотокарточек отца с матерью, коли Савелий нашелся, но все-таки этот снимок для него показался неожиданным и отчего-то неприятным. Он долго не выпускал его из рук, и праздное любопытство, с которым Георгий рассматривал фотокарточки до этого момента, словно бы окрасилось в новый цвет, пробудив в нем особую заинтересованность. Она заставила его внимательно прислушаться к словам старухи.

— А такой фотокарточки я никогда не ви-

дел, — признался он, чем очевидно обрадовал хозяйку.

— А он же певун был, отец твой. И гитарист. Завод от деревни далеко был, в тайге, масло пихтовое круглосуточно гнали. Вот и стала я ходить туда к нему, когда в ночь дежурил. Куда и гордость подевалась. Тоска заедала. Сидим вдвоем и поем на два голоса. Хорошо у нас, протяжно выходило. Тихо. Тайга. Костер. Котел гудит. Никого нет. «Летят утки, да два гуся...» Эх, наша любимая была...

Напоемся да наплачемся. Звал он меня уехать вдвоем. А мне тебя жалко было. Уж такой ты картиночкой гляделся. Мать у тебя пригожая была, во всем городском ходила и тебя в воротнички с бантиками одевала, когда совсем маленький был, бабы наши все ахали! Придет она в магазин, худенькая, прибранная, тебя за руку ведет. Бабы без очереди пропускают, она не пойдет, ни за что не пойдет. Ох и ненавидела я ее, дай ей бог здоровья, а только зла не желала ни в жизнь, поверь! Она разве в бабьей своей судьбе виновата?

Старуха подняла голову, взглянула на гостя, и тот разглядел в ее глазах тоску...

— Ты не суди отца. Он уехал, со мной даже не простился. Окошко ты мне в магазине бил, когда его уже не было в деревне. А Савелий вас с матерью и сплавил потом на карбузе вниз по Серебрянке. Вот все гляжу и не могу вспомнить, похож ты на Ивана или нет?

Она впиалась в него взглядом, в котором словно бы растворилась грусть, и стал он остер, пугающе остер; казалось, сквозь все то, что загораживает для него в лице Георгия черты, береженные в памяти, старуха все-таки сумела их распознать. Но не только это, было что-то такое, от чего Серпухов ступсвался, почувствовал себя как-то неуютно за столом.

Губы его сжались в обиде и неприязни, как несколько дней тому назад в разговоре с дочерью, когда та объявила родителям:

— В отпуск я к вам уже не поеду. Косте осенью в семейном общежитии комнату дадут. Его на очередь поставили в особый список,

нужный человек для шахты. — Дочери, види-мо, очень хотелось, чтобы Костя понравился отцу, а тот почувствовал тоскливую обиду и неприязнь к этому незнакомому парню за ту отчужденность, которая — он это видел по лицу дочери, слышал по тону ее разговора — зарождалась, а может быть, уже и существовала между ним и дочерью.

А вот сейчас, когда Серпухов тревожно скосил взгляд в сторону Кости, развалившегося на диване, а потом обернул его к хозяйке дома, что-то вроде догадки смутно замерещилось в его мятущемся сознании. Догадка о существовании какой-то вневременной и непрерывающей взаимосвязи между жизнью его — Серпухова, и жизнями этих двух чужих для него людей. Он ощутил у себя в груди тот ноющий узел, по другую сторону которого трепетали не то страх, не то обида от внезапно открывшейся отцовской тайны, так оскорбительно и обыденно ниспровергнувшей родительский идеал. Мысль о матери вылилась в такую беспомощную растерянность на его лице, что хозяйка стала успокаивать:

— Ты, Иваныч, к сердцу близко не бери! Жизнь — она штука путаная, виноватых — правых не найти, нет! Мне бы старой помолчать, да удержаться духу не хватило, — призналась виновато. И тем же бесстрастным тоном, словно бы и не о себе, продолжала говорить:

— Я здесь при магазине уж почти пятнадцать лет. Приехала на месяц-другой. Избушку подешевле купила, чтобы, уезжая, — все в Лесогорск собираюсь, — бросить не жалко было, продать-то здесь не вдруг. Да только чего-то все задерживаюсь. Адрес, что ли, куда ехать, потеряла. Живу вот. Поночевщиков, квартирантов из жалости пускаю. Хотя денег мне и без них хватает. И, гляди, послал бог тебя! А знаешь, — оживилась старуха, — не умею я богу молиться. А зря, что не научили. В молодости, конечно, это без надобности, зато в старости, как мне сейчас, к примеру, очень бы помогло, думаю. Вроде телевизора, только что для душевного разговора!

Тут они оба почувствовали некоторое облегчение, отступила от них тревога прошедших лет.

— Гляди-ка, жених-то твой, — указала на откинувшегося во сне на спинку дивана Костю старуха. — Умаялся, сердешный. Вы на диване и устраивайтесь, а я к соседке пойду, одна тут вроде меня горемыка. Я счас, Гоша, — по-свойски назвала она Серпухова детским именем, и тот мысленно даже не протестовал, — простыни достану, постелю... Закрывать трубу не буду, не угорели бы, под ватным одеялом не остынете... — Она надела ту самую фуфайку, в которой впервые Серпухов увидел ее, повязала платок и вышла. Разбуженный Костя, с выражением невыспавшегося ребенка поглядывавший на то, как застилала бабка постель, быстро разделся и сунулся к стене.

— Сплошное везенье, Георгий Иванович, как в лучших домах Лондона, — попытался он еще острить, но утомился.

А Серпухов долго не мог услышать успокоительную немоту сна. Она пробивалась сквозь звучащее в висках эхо старушечьей хрипоты, тоскующий набат которой печально и призывно благовестил здравицу человеческой любви.

И приоткрылось Серпухову в темноте деревенской избушки нечто такое первостепенное в жизни, для понимания и объяснения чего уже не могло хватить слов, оттого что стояло оно выше слов и дел. И хоть жило это скоротечной, редкостной минутой причастности к высокой тайне души, все же не исчезло бесследно, а словно бы высветилось пятнышком окна, в которое не то с надеждой, не то с отчаянием вглядывался Серпухов до боли в глазах.

Рядом с ним на диване ровно и глубоко в крепком сне дышал Константин.

Проснувшись, Георгий увидел у дверей хозяйку: в фуфайке, платке. В сумерках утренней рани ему показалось, что она будто и не уходила с ночи.

— Подниматься пора, Гоша, — тихо сказала она, — я от соседки чайку принесла. Пойдите, и быстрее на берег. Там катер ждет. На пикет сплавщиков доставляет, а вас, я договорила, до Михайловки добросят. Так что вы поднимайтесь, я со скотиной управляться пошла, — все это прозвучало по-домашнему

заботливо, как будто старуха будила Серпухова не в первый раз, и тот не удивился, а принял все это как должное, словно между ними заключился какой-то негласный договор. Так же тихо поблагодарил он хозяйку.

...Они стояли на крошечной палубе буксира, расталкивающего бегущие навстречу тяжелые серые воды. Утренняя изморозь пробирала даже сквозь дождевики, одолженные им сплавщиками. Но от холода этого бодрило, и было весело.

— Георгий Иванович! — Костя дернул Серпухова за рукав дождевика, а когда тот обернулся к нему, показал пальцем на берег. Там из-за паутины ветвей прибрежных кустов, у самой воды настороженно выглядывала лосиха. При приближении катера она медленно

стала пятиться в глубину кустарника, однако не спуская с него глаз. Когда же проплыли выше ее, лосиха остановилась и скоро затерялась, будто растворилась, в серости утра, кустарника и воды... Станным образом стук катерного двигателя не нарушал, а обострял ощущение тихой весенней широты, величаво плывущей навстречу. Но вот что-то случилось. Незаметное, невидимое пока, заставившее Серпухова прислушаться. Сквозь металлический лязг пробивался свист. Он что-то напоминал Серпухову. Забытое, но знакомое, откуда же, из его михайловского детства. И, наконец, он увидел: это летели утки. Узнал их, вспомнил, как на диапозитиве увидел: себя, пацана, в лодке с отцом. А над головой — тот же посвист...

ПИСЬМО ИЗ ТАЛОВКИ

С горем в одиночку не усидишь. И не со всяким по родне кинешься. К дочери Анне идти было попусту, отругала бы только. Поэтому подалась Дарья Саввична к Клавдии Борисовне, товарке, с которой сошлись они еще до того, как, выйдя на пенсию, определилась Дарья Саввична «стоять на вешалке» в той же поликлинике, в которой работала санитаркой.

Клавдия, женщина намного ее моложе и красивая, спервоначалу ей не понравилась. Уж больно не по годам казались несерьезными ее наряды и прическа. Девчонки, те так ее «артисткой» между собой и прозвали. Раздражала всех ее манера держаться как-то вальяжно и независимо, словно бы она одолжение кому делает, а не уборкой занимается...

И так себя поставила, что ее только по имени отчеству все называли, от главврача до уборщицы; одной Дарье Саввичне она, когда знакоилась, почему-то сказала: «А для вас я просто Клава». Скорее всего потому, что та ее должна была обучить нехитрому, но хлопотливому санитарскому делу.

Работа всякая есть работа, и кусок хлеба человек зарабатывать должен, но все ж таки, видя какое-то презрительное прилежание

Клавдии к уборке, Дарья Саввична не утерпела и как-то заметила:

— И чего это ты, Клава, не за свое дело взялась? Места что ли не нашла?

Была в поликлинике капитальная уборка, и они мыли окна в коридоре.

— А дело мое такое было, Дарья Саввична, что уж все кончилось, — с невеселой улыбкой ответствовала ей Клавдия. — Я все в любовницах да женах ходила при руководящих мужиках. Должность хотя и приятная, но, как вот оказалось, бесперспективная. Может быть, знаешь тир в сквере, около почты? Вот им мой последний муженек руководил. Между прочим, большой артист был, конференсье. Поколесили мы с ним немало, думала я, что здесь уж гавань, так сказать, наша будет. А он возьми да и помри! Печень не выдержала. Водочка задавила... И вот оказалось, что жить-то мне теперь самой и нечем. Профессии никакой. В молодости-то проплясала, — ох, любила я на сцене вертеться, так любила! У вас вон внуки и дети, а у меня их никогда не было. Все думала — рано, для себя позить надо...

— Кто же для себя не хочет, — согласилась Дарья Саввична. И подумала: «Какие же

несчастные бывают на свете люди». Но вслух пригласила:— А ты заходи когда ко мне, я же теперь тоже одна живу. Тихо. Посидим, чайку попьем... У меня гостей не шибко бывает. К дочке я сама больше хожу... Им все некогда...

Живет Дарья Саввична в старом, срубленном еще в войну, двухэтажном доме. Бревна его стен почернели, но стоит он крепко, словно бы окаменел в окружении таких же старых, как сам, тополей, поднявших ветви выше крыши, выше труб.

Квартирка — комната и кухня. Окнами во двор. Въезжала в нее Дарья Саввична, получив ордер из рук самого начальника шахты, младшей дочери Анне тогда шел шестой год. Муж, Афанасий Сидорович, был на фронте. Переезжали они из засыпного барака, в котором жили эвакуированные. Теперь из первых жильцов в подъезде они вдвоем с Никифоровной остались. Та вовсе бездетная, так жизнь в одиночестве и прожила. А Дарья Саввична троих вырастила. Анна, младшая, здесь недалеко от нее живет. Сына Михаила и дочь Павлу Дарья Саввична поочередно навещает в отпускное время. Нынче ее ждут опять у Михаила. Внук из армии возвращается, недавно прислал письмо с фотокарточкой: приглашает бабушку непременно приехать повидаться... А то он надолго собирается куда-то на стройку уехать...

Клавдия не заставила себя долго ждать. В первый же выходной заявила она, да еще с тортом, и в тот же день к себе Дарью Саввичну заманила, благо, что жила недалеко, сразу за новым трамвайным переездом. В большой квартире, на первом этаже, была у нее комната. С соседями, как она Дарью Саввичну предупредила, был у нее давний конфликт, поэтому она и готовила не на кухне, а на плитке у себя...

Вот и теперь сидит Дарья Саввична в этой комнате. На плитке греется чайник. Клавдия рядом с ней на диване курит папиросу. А Дарья Саввична все успокоиться не может, на

белой скатерти стола лежит письмо Афанасия Сидоровича.

— Десять лет ни слуху ни духу, и на тебе. Батюшки, да за что такое горе, Клавдия? Скажи? Дети уж о нем, идоле, позабыли, о внуках ведь знать не знает, и еще такое написал? Вот горе-то, не ждала, не думала!

— Какое ж это горе, Дарья Саввична? — Клавдия отошла в угол к закипевшему чайнику. — Садитесь к столу, чай будем пить. А почему бы вам и в самом деле не собраться к нему? Ну было что-то у вас, жизнь не получилась. Теперь он одумался. А вас что здесь держит? Работа? Дети? Навещаете же вы других детей за тысячи километров, так и сюда ездить будете... Я, знаете, наверное, хорошо его понимаю. Один. Во всех четырех углах один! Представляете?

— А кто же его в углы эти загнал-то? Я, что ли? Всю жизнь с самых первых дней все только и боялась ему слово супротив сказать. Все думала, раз Афоня говорит, значит, так и должно быть! Он мне как свет в окошке был, пока слезами тот свет не затуманило... Я же тебе говорила, что Афоня-то человек всегда на особицу был. Правда, что и хозяйственный, но все больше в мечтательности, и самолюбив был, не приведи господь... Только сама я этого по молодости не понимала, правду сказать, даже мило было, что вот он у меня такой, ни на кого не похожий...

...Афоня и в самом деле на деревне был парень отличительный, среди парней заводила. По праздникам носил городской пиджак, хромовые сапоги с галошами. С детства они с отцом ходили по деревням, клали печи. И после женитьбы своего отхожего промысла он не оставил. В деревню всегда возвращался при хороших деньгах, привозил мануфактуры. Жили они с его родителями, но уже о своей избе по ночам пошепывались.

По одной весне возвратился Афоня до обычного срока. В том году Мишутке было три года, Павлой она на сносках ходила. Оказалось, что услышал Афоня от знающих городских людей про хлебосольные края, в которых, если жить умеешь, враз можно разбогатеть. В свое

умение жить он все больше и больше верил. Дарья же вовсе в том не сомневалась, и в тихий восторг приходила, когда при разговоре в глазах Афанасия такие огоньки загорались, что будто от них по всему его красивому лицу растекалась алость.

Почти в одночасье собрал семью (сборов-то было — пара узлов) и увез в волость, а оттуда на «железку», и уж по ней до богатого места поехали.

Поселились в большой деревне, с субботним базаром. Сперва угол снимали. Быстро и свой домик справили: руки-то Афоня и в самом деле имел золотые и на работу неупоконный был человек.

Дарья Саввична уже коровку приглядела — комолую, рыжую, с белыми боками. Стадо гонит пастух, а она ее разглядывает. У баб соседских потихоньку выспрашивала да деньги откладывала.

А Афанасий Сидорович, так его стали уважительно звать, нарасхват. Можно сказать, и дома не жил. Случалось от бани до бани не появлялся. В праздники уж без подарков она не бывала.

Однако в характере Афони была особенность одна. Любил форс свой показать. Завел порядок: печь кладет — хозяин все это время угощение для печника иметь должен. Допьяна, чтобы облик терять, Афанасий Сидорович не пил, а вот кураж такой держал. И как раз мужик, у которого они коровку стали торговать, задумал печь переложить.

Афанасий Сидорович все требования обсказал, мужик дал согласие. К делу приступили. Первый день крепко выпили, поужинали — такое он правило тоже держал, — а уж с утра, опохмелившись, за работу. Мужик не то забыл, не то схитрил, но угощения ни на другой, ни на третий день не выставил. Афоня день проработал, другой, третий, виду не подает.

Печь уже окончил и, от последнего ужина отказавшись, домой в баню ушел.

После бани за ужином объявил жене:

— Попомнит меня эта жила! Я ему, черту жадному, в трубу горлышко от бутылки заложил, — объяснил Афанасий Сидорович жене, —

это ему за жадность на память. А что до людей, то решил я отсюда уехать в город. Стройка там миллионная идет, и мастерам, конечно, разворот есть!

В несколько дней, продав дом за полцены, они и собрались. Поначалу тосковала по своему дому, по некупленной коровке Дарья Саввична, но долго горя и обиды в себе с сиротского детства научилась не держать. А уж после того, как им в семейном бараке целую комнату отвели, да и получка у Афони в самом деле знатная стала выходить, совсем позабыла про деревню.

Афоня, работая в бригаде трубоукладчиков, быстро до бригадира дослужился. Не только на стройке, но и по соседству его все уважительно Афанасием Сидоровичем называли. Мужики, что постарше, может, немного и не без умысла другой раз навеличивали. Потому что Афанасий Сидорович от уважительности в неудержную щедрость мог впасть при угощении. Но и лесть малая все-таки от заслуг была. Не в долгом времени им предоставили отдельную квартиру: комната, кухня, да еще с огорождением под окном, в новом шестиквартирном доме. Недалеко от завода. В том же году Афанасия Сидоровича премировали патефоном, по тем временам вещь редчайшей. Гости у них в доме никогда не переводились, а на музыку и вовсе, как в клуб, стали ходить. А только однажды, проводив гостей, вдруг объявил Афанасий Сидорович:

— Не то это место, Даша, которое я искал. Развороту мне настоящего нету!

— Чего же тебе еще надо? — Не поняла мужа Дарья Саввична и в искреннем удивлении полюбопытствовала: — Разве лучше-то бывает?

Оказывается, даже и есть! И Афанасий Сидорович о том месте уже все доподлинно узнал и в контору заявление о расчете снес. К тому же, как выяснилось, он окончательно с мастерам ладить не может.

Приходил прямо к ним в дом уговаривать остаться сам начальник. Квартиру с горячей водой и балконом в каменном доме и прибавку к жалованью сулил. Да, видать, не зря по-

словица подсказывает, что голому рубаха без надобности...

Таким образом, в конце тридцатых годов подались они от городской жизни опять на пустое место, в Среднюю Азию.

Житье им отвели в домах, сложенных из саманных кирпичей. Топить приходилось кизяком — овечьим навозом и соломой. Километрах в десяти от поселка колхоз был, и ходили туда женщины выменивать продукты на тряпки. Дарья Саввична заметила, как одна женщина шерсть покупала. Познакомилась с ней. И как-то быстро сама наловчилась от нее и прясть, и вязать. Со временем так ловко стало получаться, что не только свою семью, но и соседскую успевала в вязаные носки одевать. В соседях у них друг Афанасия Сидоровича проживал, с женой да двумя ребятишками. Но сам очень бесшабашный был. Дарья Саввична с мужем и свою избу слепили, живность завели, а те все в бараке ютились. Овец было купили — они у них подошли. А потом и вовсе горе привалило. Упал с лесов друг Афанасия Сидоровича, разбился насмерть. Шибко переживал Афанасий Сидорович, а потом решил:

— Оставим дом, скотину вдове с детьми, а сами в Россию подадимся.

На этот раз не стала Дарья Саввична ему перечить. Здесь и вправду тяжело жилось. Детям в школу далеко. Ветры да пурга. Но главное — степь вокруг. Как ладошка, веточки нету, чтобы глазу остановиться.

Приехали в Сталинград, на Волгу. Там и Анна родилась, младшая дочь. В ту пору вроде уговорила Дарья Саввична Афанасия Сидоровича, чтоб больше от добра добра не искать и остаться в этом городе на всю жизнь. И не заупорствовал муж. Дал твердое согласие.

Весной сорок первого исполнилось Афанасию Сидоровичу тридцать лет. Жить бы да жить там, но война прогнала. Из-под бомб она с ребятишками каким-то чудом угодила в железнодорожный эшелон, а в нем — в Сибирь.

Дарья Саввична, глядя на фильмы про войну, всегда расстраивается. От этого в груди у нее так сжимается, что даже воздух с трудом

проходит. Она начинает дышать часто, торопливо, всякий раз боясь, что вот-вот задохнется. Зато любит добром помянуть происшествия из своей шахтерской жизни. Ее послушать, так выходит, что именно в то время ей как раз по-настоящему повезло. Ну хотя бы потому, что в лаве, под землей, на выемке угля, навальщицей она проработала всего год. Да еще из всей бригады ее одну однажды премировали. Первый раз тремя кусками хозяйственного мыла, второй — новыми «чунями». Это вроде глубоких галош, только отлитых из грубой резины и без подкладки.

Если вдуматься, и в самом деле повезло тогда Дарье Саввичне. Нынче спроси шахтера, что такое навальщик, вряд ли кто толком объяснит. А была, была такая должность. Работа, кажется, проще не бывает. У тебя в руках лопата, перед тобой гора угля. И надо ее перекидать на транспортеры — металлические желоба, протянутые по всей лаве, из которой уголь добывают, — длина же того подземелья несколько десятков метров, а высота-то чуть поболее, а то и менее метра.

Когда Дарья Саввична впервые в шахту спустилась, показалось ей, что она попала в большой погреб. Лопата не была в новинку. Не один огород копать приходилось. Но тут лопата оказалась такая, с изогнутым, широким совком и называлась «подборкой». Ловко и вправду поначалу показалось ей уголь подбирать, но часа через два отяжелела «подборка». Руки от черенка огнем горят, спину не разогнуть. Вот кто такой навальщик. Мужика другому не под силу, а работенка бабам досталась. Недельки через три попривыкла, чуть полегче стало. Вроде и уголь мягче пошел. А может, и оттого, что уж сильно они, бабы, его слезами своими смачивали?

Бывало, упадет которая из бабенок прямо на угольную кучу да как завоет в голос, словно над покойником. И таким горьким невыносимым бабьим горем растекалась из-за стоек тоскливая шахтерская темень, что мастер, отставленный от фронта по «брони», тихий мужик, надламывая в хрипе голосовые связки матерными словами, убегал из лавы.

Дарья Саввична жалела мастера. Жаль ей было и товарок. Проплакавшие вместе со все-

ми, она первая принималась ссыпать на решетки конвейера свой «пай» (так называлась сменная норма погрузки угля), а управившись — сноровка крестьянская и под землей сгодились — принималась подсоблять кому-нибудь из женщин. Были в бригаде служащие, городские, к тяжелой работе непривычные.

«На моторе стоял», то есть включал и выключал электродвигатель конвейера, Толя Иволгин, совсем мальчишка. Остроносый, конфузливый. Бабенки во время отдыха, по дороге в лаву, над ним подшучивали. Однажды он на работу не явился. Вот тогда-то и спросил мастер у Дарьи Саввичны, имела ли она дело с электричеством. И на ее чистосердечное отрицательное признание сказал, тяжело вздохнув:

— Ну все равно. Женщина ты с понятием, к тому же серьезная. Встанешь на Толино место. Он вчера повесточку получил. Запомни: ежели что — вырубай и кричи меня. Сама не суйся, поняла?

Дарья Саввична поняла инструктаж. Работа — сравнишь ли с навалкой? Однако первое время боязно было. Все ж таки электричество — сила невидимая и непонятная.

Благодаря общительности своего характера, не только быстро к новой должности приспособилась, но, бывало, временами разговаривала с железным ящиком — электрическим включателем, принесла в шахту из дому венчик, чтобы порядок наводить. По-настоящему полюбила ее эта работа.

И сына, когда тому исполнилось шестнадцать, определила в мотористы, но, правда, на участок транспорта. И зажили совсем хорошо. Две рабочие хлебные карточки на четверых! Квартину им дали, все-таки два шахтера было в семье, да еще муж на фронте.

Афанасий Сидорович воевал не очень удачно. Три раза раненый был. Ранения были такие, что быстро из госпиталей выписывался в часть. А в соседний барак приехал один солдат, и недели две долечивался. Позавидовала было Дарья Саввична. Очень уж хотелось Дарье Саввичне с мужем повидаться. Да одумавшись, за глупое мечтание свое, за греховную зависть к соседке корила себя и желала

одного-единственного, чтобы воротился живым хоть когда-нибудь.

Осенью сорок седьмого, уже с Востока — довелось еще и на «японской» побывать — приехал Афанасий Сидорович к семье в неведомую ему Сибирь. Встречала Дарья Саввична мужа с младшими: Анной и Павлой, сын служил в армии. Встречала Дарья Саввична в этой самой квартирке, в которой живет и ныне.

Муж одарил Дарью Саввичну с дочерьми шелковыми — по черному полю красные розы — халатами мудреного фасона и расписными веерами, чем рассмешил Дарью Саввичну до слез. Соседки же, смеха ради, заставили ее вырядиться в заморские одеяния и от души хохотали, глядя, как она путалась в широких рукавах и складках.

В Тополинске, «в бараках», как по привычке называют двухэтажные рубленые дома, соседство — почти как родство. По-родственному помогают друг другу за ребяташками доглядывать, по-родственному, то есть шумно и многогласно, скандалят, так же шумно потом устраивают мировые. Ну, а про праздники и говорить не приходится: зван не зван, а всяк в доме гость дорогой.

На этом празднике объявил Афанасий Сидорович свое наиважнейшее решение. Встал он, высокий, волнистые волосы набок зачесаны, на гимнастерке награды всякие блестят, и объявил:

— Низкий тебе поклон, Дарьюшка, от солдата за то, что в тягостное лихолетье детей уберегла, растила-кормила. А теперь, по возвращении моем с полей сражений, снимаю я тебя, Дарьюшка, с этой вдовой шахтерской работы. Не бабье дело под землей ковыряться! Не должна боле ты в насаде нечеловечей проживать!

Утерла уголком платка Дарья Саввична радостную слезу и, как ранее — уж и вовсе отвыкла от такого, — повинувшись мужней воле, отнесла на шахту им же сочиненное заявление с просьбой дать ей полный расчет.

Афанасий Сидорович по первости о переезде в Россию поговаривал. Но походил по улицам городка, пригляделся к угольным дымящим-

ся горам, прислушался к утренним шахтовым гудкам, к жилью малость пообвык и устроился на работу в строительное управление. Там ему сразу поручили возглавить бригаду каменщиков. Поликлинику, в которой сейчас работает Дарья Саввична, Афанасий Сидорович строил. Другие дома она не знает, а этот запомнила. По одному разговору запомнила.

Ко всему прочему, он еще и политик шибкий был — Афанасий Сидорович. Газеты читал и во дворе мужикам, бывало, давал объяснения о международном положении. Это самое положение, по его словам, выходило «критически чреватым», но Афанасий Сидорович всегда многозначительно успокаивал собеседников тем, что «у нас кой-что про запас имеется и им сидеть бы, не соваться!»

Подобные разговоры большей частью велись в застолье. Собирались у них гости частенько. Афанасий Сидорович где попало выпивать не любил, да к тому же подобное и Дарья Саввична не одобряла. А хозяйка она была не только приветливая, но и умела по-настоящему гостей принимать.

Получивши премию на строительстве поликлиники, Афанасий Сидорович привел всю бригаду домой. Когда гости, разомлевшие от выпитого и съеденного, обсудив зарубежные новости, вперебой заговорили о своей текущей жизни, смысл которой, естественно, сводился к работе, Афанасий Сидорович опять свое решение объявил.

Мужики на разные лады стали нахваливать своего бригадира за умение работать, за ловкость его обращения с начальством. Афанасий Сидорович от их слов да от выпитого растрепожившись, кулаком по столу ударил.

— Не видели вы настоящей каменной работы! Вот что скажу вам. Когда мы в Верхнегорске трубы выводили — это была работа!

Он в свидетели Дарью Саввичну призвал. Она с готовностью и гордостью подтвердила, что большие благодарности от начальства тогда вышли Афанасию Сидоровичу. И она же, опять не без гордости, похвасталась, что, когда они с мужем засобирались уезжать, теплоцентраль к тому времени была уже запущена, приходил домой к ним начальник, уговаривал Афанасия Сидоровича остаться.

— Вот бы нам, мать, опять до настоящей работы добраться? — мечтательно, обняв ее, сказал Афанасий Сидорович. Кто-то из сидящих за столом мужиков обиделся. Зачем, дескать, хаять работу, которая тебя кормит? И в том смысле выразился, что если он уж такой особенный мастер, то чего же сидит с ними, малохольными, на разных поликлиниках?

Афанасий Сидорович обиды не держал. Он вообще сердцем простой был. Засмеялся пуще еще. Песню запел. Всегда они ее вместе с Дарьей Саввичной певали: «Ой ты, сад, ты мой сад, да сад зелененький...» После песни-то, еще крепче прижав жену к себе и склонив кудрявую голову так, что в глаза ей заглянул, Афанасий Сидорович весело сказал:

— А мы, может быть, уж и место подглядели, верно, мать? — И пусть туманила голову брага, и веселье радостью застлало глаза, но короткой, забывной тревогой — словно бы укол пальца иглой при шитье — затронулось сердце Дарьи Саввичны. Ответить не успела, муж опередил:

— Мы на любом месте на месте! Хоть бы и на поликлинике! Глаз — ватерпас, голова на всех на вас!

И так его уважали мужики, что на подобную похвальбу тоже не обиделись, а наоборот, приняли как извинение.

Спустя немного дней после того гулянья ранее привычного вернулся Афанасий Сидорович домой с работы. Умылся, переоделся, но прежде чем за стол сесть на кухне, к Дарье Саввичне подошел и торжественным голосом попросил:

— Протяни-ка руку, мать, левую.

— Чево-то будет? — поинтересовалась Дарья Саввична, знала, мастер был муж на фокусы, однако руку подала. Афанасий Сидорович же взял одной рукой за кисть, а другой застегнул на запястье цепочку с кругленькими малюсенькими часиками. Нескатишейся слезой отуманились благодарственно ее глаза, ведь за всю свою жизнь часов Дарья Саввична не нашивала. Она обняла мужа, поцеловала. Афанасий Сидорович, прижав к груди ее голову и рукой по густым волосам проводя, тихо сказал:

— Рассчитался я, Даша. В Зеленое Поле поеем. Друг там завелся, пишет, новую станцию строить начинают, а трубоукладчиков не хватает. Они на дороге не валяются, — этот козырь он вроде как защитным выдвинул.

Дарья Саввична думала, что с годами его непосредствo отoшло, уж за войну ли не намаялся! И, не умея мужу перечить, заплакала. Сильно ей жаль стало свой обжитый угол. Но Афанасий Сидорович все объяснил:

— Я на фронте во сне свою работу видел! А здесь что? Так с тоски запить недолго! Ныче вся страна в стройке, я своими руками, можно сказать, миллионные деньги делать могу. Мне цены нет, а здесь на копеечные дела приходится размениваться, но не по мне такая жизнь, должна ты понять, не по мне место это!

Понять Дарья Саввична не поняла, а сердцем сжалась, и вновь для нее начались ожидания мужниных писем, по ночам бессловесные разговоры с собой о его житье, неустроенности, о том, что же за силу имеет над ним эта работа, если гоняет его с места на место, не давая покоя и проку ни ему, ни семье.

Письма же писать Афанасий Сидорович был не очень большой любитель, больше все переводы слал. По весне переводы что-то задержались. Месяц, другой, третий... Дарья Саввична сама написала в Зеленое Поле на адрес, по которому квартировал Афанасий Сидорович. Письмо вернулось еще через месяц с пометкой «адресат выбыл». Первоначально она вообразила, что Афанасий Иванович находится где-то на пути домой. Приняв же во внимание немалый промезуток времени, испугалась неправоты своего домысла. Переживания, схожие с теми, что одолевали в ожидании писем-треугольников со штемпелем полевой почты, начали ей представляться картинками всевозможных несчастий и бед, приключившихся с Афанасием Сидоровичем.

Однако если в военное время она бессильна была в противоборстве с горем, то теперь, подумав, передумав, собралась поехать в неведомое ей Зеленое Поле на спасение своего мужа.

Остановило обстоятельство стороннее, ее вроде бы вовсе и не касающееся. Конечно, во

дворе на скамейке под черемухой о беде своей не умолчала, и сострадальные соседки на все лады с нею, как теперь говорят, всяческие варианты предполагаемых событий стали разрабатывать.

— А в семнадцатом бараке у Селивановой Татьяны-то как было, — к местному примеру обратилась одна. — Мужик уехал на север зарабатывать на машину. А потом и письмо присылает: «Не жди — женился!».

— Они и здесь не по-людски жили, Селивановы, — с соседской осведомленностью сообщила другая женщина, — их, мужиков, одних на день нельзя оставлять! — Но по справедливости добавила: — Другие и самостоятельные есть!

А Дарья Саввична в том направлении думать стала, что об Афанасии Сидоровиче такое и вообразить не могла, но и рассудить по-другому: если бы несчастье, не сообщить все-таки не могли. А раз «адресат выбыл» — тут что-то другое.

И все-таки сердечная тревога с каждым днем все более соединялась с обидой на мужа и, отступая в ежедневных домашних хлопотах, постепенно приобрела свойство, схожее с хронической болезнью.

Опять воротилась нелегкая жизнь. Стала носить на базар кое-какие вещички. Девчонок поить-кормить надо было. Там, на базаре, и встретила свою старую подругу по шахте. Поговорили, поплакали вместе, она и подскази:

— А ты, Дарья, иди-ка к нам на лесосклад. Работа ничего и получаем прилично.

И вернулась на шахту Дарья Саввична. Тут ей вновь повезло. Одна женщина рассчиталась с пирами. Сюда Дарья Саввична и устроилась. Работа была простая. Накатывать бревна на тележку с одной стороны, потом, когда они через пилы пройдут, уже с другой стороны доски — бревно-то распиливается — снимать и складывать. Нелегко, конечно, но разве сравнишь с разгрузкой бревен из вагонов? И как в те, забытые, дни своего первого шахтерского года валилась с ног Дарья Саввична. Хорошо, дочка уже помогала по дому, иной раз

и ужин готовили, то есть варили картошку в мундире.

Ближе к весне, совсем неожиданно, пришло письмо от Афанасия Сидоровича. По каким-то причинам — он не сообщал, — но пришлось ему срочно уехать из Зеленого Поля. И жил он уже где-то на Амуре-реке. Квартиру обещали в самом скором времени. С деньгами было туго, но вслед за письмом сулился прислать. И правда, незамедлительно Дарья Саввична обнаружила в почтовом ящике перевод. Вроде бы и обрадоваться должна была Дарья Саввична, она и обрадовалась, да и не могла не обрадоваться желаемому благополучному исходу неизвестности. Она и всплакнула, но чего больше было в тех слезах, облегчения ли души или жалости к себе, трудно было понять.

Афанасий Сидорович отписывал, что в бригаде народ неплохой, с мастером он дружит, начальник участка его уважает. Но вот жилье строят плохо, а свой дом ставить здесь расчета нет, так как для постоянного проживания места мало подходящие. Поэтому деньги он кладет на книжку, а семье на прожитие, так он думает, и Дарьиного заработка вполне должно хватать.

Время шло. Зима на лето менялась, и наоборот. Опять же добрым людям спасибо. Соседка Никифорова — она поваром в детсаду работала — помогла Дарье Саввичне устроиться туда уборщицей. До смерти не забудет Дарья Саввична ее доброты, уж очень ей нравилась покойная, легкая, чистая работа. Дочки росли, невестились...

...Павла поступила в местный техникум на экономиста. Анна через год решила пойти учиться на медсестру. И незаметно, как по прошлогодней траве щетина весенней поросли, в быт семьи входило что-то новое, уже совсем не ее, для Дарьи Саввичны и незнакомое.

Вместо разноцветных, питьих ею же крестом занавесок и салфеток появились штапельные портьеры, на стене — полочки, фотографии артистов. По настоянию дочерей свезла в детсад Дарья Саввична большую кадку с высоким лопушистым фикусом. На ее место поставили

вновь купленную тумбочку, а на ней — электропроигрыватель.

По вечерам стали приходиться к дочерям подруги, парнишки. Слушали пластинки, о чем-то шептались, хохотали. И незаметно для себя, чтобы не мешать молодежи, стала Дарья Саввична на то время уходить к соседям, а то закрывалась на кухне — благо, хозяйке там всегда дело найдется.

Об отце не вспоминали. Письма опять что-то не приходили. Дарья Саввична, схоронясь, чтобы дочки не увидели, иной раз и всплакнет, вспомяв то родную деревню, то строительство завода, то Среднюю Азию, то Волгу. И везде, кажется, им дружно жилось с Афанасием Сидоровичем, полюбовно. Как бы не его проклятая бродяжья душа! Иной раз укором спрашивала себя: «Отчего было не поехать в это Зеленое Поле? Подрастут девки, разлетятся по сторонам, что ж ей-то останется?».

Афанасий Сидорович объявился на пасху. В тот год она совпала с Первомаям. В последний день апреля он и появился домой. Весна стояла ранняя, зеленая. Дарья Саввична верующей сроду не была, но с деревенских младенческих лет привыкла к этому радостному весеннему празднику. Потому и сама всегда пекла куличи, луковой кожурой красила яйца.

Дарья Саввична как раз на работе была. К ней в детсад соседка прибежала:

— Дарья! Дарья! Дома-то у тебя кто! — затараторила она так, что у Дарьи Саввичны защемило от испуга сердце. — Гость-то какой! Сам приехал! В плаще, при шляпе! Чемоданы кожаные. — Она не умолкала почти до самого дома. — Совсем не переминался!

Дарья Саввична у самой своей двери вдруг увидела, что забыла снять грязный рабочий халат, приостановилась было, растерянно сев на себя, но дверь сама призывно открылась ей. В узком коридорчике, уткнувшись мокрым от радостных слез лицом в табачный дух мужниной рубахи, она с умильным удивлением спросила:

— Неуж не забыл, где ключ прячем? (с до-

военных лет еще заведено у них было класть его под половичок перед порогом).

Подарков Афанасий Сидорович понавез уйму. И жене, и дочерям. Последнее особенно по сердцу пришлось Дарье Саввичне. Девчонки тут же стали примерять капроновые, бесстыдно просвечивающие кофточки, в каких ходили в ту пору редкие модницы, и туфли на «шпильке», и все им было впору, они восторженно шумели, обменивались нарядами, и впечатление было такое, словно отец возвратился из отпуска, и первоминутная отчужденность, с которой дочери его встретили, забылась в этом красивом тряпичном ворохе.

В лице Афанасий Сидорович и вправду оставался вроде бы прежним, немного морщины углубились, да волосы, его волнистые пряди, выпрямились, поределели, поблекли... Прожил он дома неделю и стал звать Дарью Саввичну поехать с собой.

— Поедем, мать, недалеко теперь. В Красноярский край. Вместе поедем. Подзаработать как следует. Купим дом, машину, хозяйство заведем. Дочерям свадьбы справим. У меня уже и на книжке припасено. Ну, кто я такой? Не вдовец, не женин муж! Бобылем по жизни мотаюсь!

И в самом деле, думалось Дарье Саввичне, не по-людски у них получается. Давняя доверчивая покорность поманила ее. Вспомнили они о своих довоенных поездках. Афанасий Сидорович — о премиях, о товарищах, она — о саманных домах, о том, как квартировали в три семьи в одной комнате. Тягости помнились в затуманенной радости прожитой жизни. Гости опять чуть ли не на всю неделю поселились у них в доме. В застолье и держал речи Афанасий Сидорович. И был он в словах так же интересен и неперебиваем, таким же он был за столом хозяином, как и ранее, и счастливую женою его перед гостями видела себя Дарья Саввична, иногда только ловила она себя на том, что обидно ей, отчего это не спросит он, как она одна детишек растила, управлялась по домашним своим делам, но гнала она от себя незнакомое и пугающее ее чувство. Она не сомневалась в искренности слов мужа, но его восторги все более ее сознанием отталкивались и не вязались с нею

самой. Ощущался в ней какой-то страх и неуверенность, как только представила она себя где-то в стороне от теперешней привычной, ею самой налаженной жизни.

Поэтому не удержалась и высказала, как умела, все, что на сердце накопилось, мужу. Он словно бы и ждал этих слов — так у него переменялось настроение и тон его обращения с нею. Грубостей, конечно, Афанасий Сидорович себе не позволял. Однако и Дарья Саввична поняла, что, зовя ее с собой, он, может быть, сам себя и обманывал.

Так она ему и сказала, да еще любопытствовала: как это он все время блюдет себя в верности? И тогда он все на эту тему повернул. То есть, говорил в том роде, что и ей, наверное, не без чьей-нибудь ласки жилось?

Вот на таких-то разговорах они и расстались. Наотрез отказалась Дарья Саввична ехать. Впервые в жизни проявила твердость. Кому из них это больше пришлось по душе, трудно сказать.

Афанасий Сидорович уехал сердитый и провозжать не велел. Уехал — и почти десять лет от него не было ни слуху, ни духу.

Повыдавала Дарья Саввична дочерей без Афанасия Сидоровича замуж. Сама на пенсию вышла, а он возьми и объявись! Письмо прислал. «Живу я сейчас на хорошем месте — в селе Таловка. Красивое село. От района недалеко. Народу бывает много. При хозяйстве с умом жить можно. Дом я большой поставил. Хозяйство немалое. Одному справляться трудно. Может, приедешь? Хотя бы под старость по-людски пожить. Чего тебе одной-то в угольной яме сидеть? Зная твою упорность и вредность, все-таки прошу — зла не тай.

А то бы, Дарья, приехала? Не чужие же мы! Я на тебя зла не таю, не тай и ты...»

Да какое уж там зло-то! Обиды она никогда не держала долго. Думала: не все ж с умыслом обижают друг друга! Больше по недомыслию. Как тот же Афоня, например. Умный мужик, а разве не сам загубил свою жизнь, да и ее в придачу? Жалела Дарья Саввична его. Видно, ему совсем одиноко в той Таловке...

А кончалось письмо и всё горькими словами: «Как же жить-то одному? Впору хоть знакомую бы какую бы подыскала, пусть бы приехала, что ли, за хозяйством доглядывать, а то все-таки приезжай, Дарья?»

Сколько же человеческими глазами можно плакать? Уж будто и высохли ее глаза, и старческим покоем укоротились в зрении, нагнав в жизни на великое множество обид и непосильностей. Только нет им конца, женским слезам, как нет и конца их милосердию. Упала капля на исчерканный корявыми загогулинами бумажный лист. Расплылись чернила, стали неразборчивы слова. Но Дарье Саввичне они в душу запали. Так она запомнила всю свою жизнь не умом, а сердечной болью, туманной солью памяти. И замерещилось ей далекое, неизбывное, потянулось повидаться, поговорить с тем где-то на земле живущим отдельно стариком, и сама мысли той испугалась! Она же никогда Афанасия Сидоровича стариком не видела!

Жила она, о своей старости не задумывалась. Письмо от Афанасия Сидоровича будто бы повернуло ее вспять к одиночеству, из которого она давно ушла в заботах и переживаниях о детях, внуках к радостям сплетения их жизней с течением ее дней.

Может быть, и к дочери Анне она со своей бедою не пошла не столько из-за боязни услышать ее выговор, сколько, чтобы дочку от ненужного расстройств уберечь...

Клавдия же самой подходящей по этому случаю оказалась собеседницей, хотя бы и по жизни ее.

Она, помешивая в чашке чайной ложечкой, рассудительно размышляла вслух.

— Я, например, хорошо его понимаю, Дарья Саввична. Не оправдываю, как же такое оправдаешь, а понимаю. У вас внуки, дети рядом с вами, а он один. В четырех углах один. Утром, днем, ночью. Поверьте мне — это самое страшное, когда знаешь, что даже поругаться с тобой никто не придет, не то чтобы просто слово обыкновенное сказать. Получается, что жизни-то в тебе надобности нет! Наверное, чувствуете вы, что не чужой он

вам? — спросила она и сама себе ответила. — Если бы не чувствовали, так не убивались бы... Любовь же была.

— Оно так, видимо, — согласилась Дарья Саввична, но тут же себе и возразила, — да чего-то не так. Всю жизнь если оглядеть, получается, что я его ждала. Встречала, провожала... В последний раз сама вроде как поехать отказалась. Не бросил он нас, этого не скажешь, а не хуже ли оттого? Любовь, ты говоришь. А если он самой этой любовью в удовольствие свое играл? Я за ним, как слепой за поводырем, а мне в ладошку вместо копейчек — железки! Они тоже бренчат. И выходит с тем обманным звоном я и проеконала! Нет, не могу принять его супостатства против нашей жизни. Хотя все одно, правду сказать, жалко мне его, — неожиданно сказала тихо Дарья Саввична.

На эти слова ее Клавдия промолчала. Они сидели по разные стороны стола. Между ними лежало письмо. Дарья Саввична взяла его и, словно новое что-то в нем обнаружив, заговорила:

— Слышь, чего просит-то, — хотя письмо она Клавдии сама все вслух прочла, — знакомую какую-нибудь прислать!

— Это, конечно, от растерянности. Зачем она ему? Он же теперь боится, чтобы и на этот раз вы не отказались, — рассудила Клавдия...

— Боязливым Афоня никогда не был. — Дарья Саввична о муже все в прошлом времени говорила. И с усмешкой добавила: — А взять бы тебе да и поехать, Клава?

Эту несурязицу Дарья Саввична будто и не всерьез сказала, но продолжила свою мысль:

— А чего бы и не поехать? Я же вижу, как ты в уборщицах маешься, а тут, глядишь, и зажилось бы... Мужик он трезвый... Не думаю, чтобы характер переменялся. Вишь, за ум взялся.

Клавдия, конечно же, тоже за шутку это приняла.

— Жена из меня неподходящая по его хозяйству.

— Можно не сразу так, совсем. Поприглядеться, погостить... Не девка, чего стеснять-

ся. О жизни речь идет. Да и просто в деревне отдохнуть. От тебя, что ли, убудет?

На эти слова Клавдия уже с раздражением возразила:

— Не ожидала я от вас такого, Дарья Саввична. Что это и самолюбия у меня вовсе нет? Или я и в самом деле беспомощная такая, чтобы вот так, через почту, в жены себя предлагать?

— Извини меня, — покаялась Дарья Саввична, — я же хочу по-хорошему. Жалко мне его, нелегкая его растрясла... А тебя я очень уважаю, ты не наговаривай...

В последующие дни в своих разговорах они по обоюдному негласному уговору как-то обходили эту тему, пока Дарья Саввична однажды не призналась:

— Письмо-то я все еще Афанасию Сидоровичу не отписала...

— Может, мне и в самом деле отпуск взять? — Клавдия, виновато глядя ей в глаза, нерешительно ответила вопросом.

С тех пор прошло три недели, и получила Дарья Саввична из Таловки еще одно письмо.

«Здравствуйте, благодетельница моя, забывшая Дарья Саввична. Вот пишу вам. О жизни что сказать? Пока все хорошо, может быть, благодаря богу и вам так оно и дальше будет. С Афанасием Сидоровичем все время о вас вспоминаем. Урожай у него в огороде хороший. Сена много. Только вы знаете, хозяйка я никудышная, но Афанасий Сидорович упре-

ков не делает, со временем, может, и научусь? Человек он оказался душевный. Дом у него большой, светлый, на веселом месте стоит. Сразу за огородом сосновый бор. Милая Дарья Саввична, если будет на то ваше доброе согласие, мы с ним решили расписаться. Издержки, какие потребуются на развод, Афанасий Сидорович обещает взять на себя...

Простите вы меня, милая великомученица, Дарья Саввична. Жалко, что мы в бога не веруем, а то бы молила я его о вашем здоровье и счастье, но и все одно, пусть вам живется хорошо. А на меня, беспутную, не обижайтесь. Разве я думала когда, что у меня такое в жизни произойти может? Всяких благ вам. Клавдия».

Дарья Саввична, прочитав письмо, глядит в окно. Там за зеленоватой гладью стекла виден высокий старый тополь, растянувший по серому небу кривые корявые ветви с остатками желтых листьев.

Разноцветным ковром листья выткали дорожку. По нему неслышно идут, спешат в разные стороны люди. И только двое: женщина с девочкой в зеленом пальто и красной шапочке не торопятся. Девочка, видимо, что-то рассказывает матери, показывая ручкой. «Господи, так это же Анна с внучкой!» — толкнулась в груди догадливая радость. — «Ты, старая, враз и не заметила!» — Вслух выговаривает сама себе Дарья Саввична и спешит к двери встречать гостей.



* * *

Каков мороз!
Все в куржаке вокруг.
Звонящий день невыносимо светел,
И медленно раскачивает ветер
Столбы дымов, поднявшихся из труб.

...Субботний день.
Сегодня сохнут бани
По знойным волнам пара на полке,
По веникам с душистыми листьями,
Распаренным в свирепом кипятке.

...У родника —
Железом уколоться
Морозным,
Наклониться, заглянуть
И шелковую воду зачерпнуть,
На серый сруб выплескивая солнце.
Потом пройти фарфоровой тропинкой,
Качая коромысло на плече,
В предбаннике застыть
над паутиной,
Что сушится на солнечном луче.

...Теперь — поленья в топку
 поместить,
И в гулкий бак из ведер вылить
 воду,
Сложить растопку,
Спичку засветить,
И, хлопнув дверцей,— дать огню
 свободу.

СМЕРТЬ СТОЛЯРА

Смерть вышла вроде бы нестрашной.
Упал, как падают в сугроб...
А перед тем — сказал:
— В домашний...
Кладите...
В домодельный гроб.

И вот теперь лежишь — ни звука.
В руках покой, в лице покой.
Соседка — древняя старуха —
Сидит угрюмо над тобой.

Свеча стекает. Руки в воске.
Ты верил до конца минут
В то, что твои, родные доски
Тебя на кладбище снесут.

Как веру обмануть такую?
И твой приятель — худ, высок —
Пройдет тихонько в мастерскую,
Кедровых выберет досок...

И вдруг, забыв тоску утраты,
Глазами обведет подвал
И спросит у тебя:
— Куда ты,
Листратыч, гвозди подевал?

* * *

Судьба,
Ты вовсе не из книг —
Такое в них наверчено! —
Вся жизнь, как этот черновик —
Исхожена, исчерчена.

Гляди, какой громадный срок
Ты у меня разграбила:

Сто тысяч вычеркнутых строк,
И ни словечка — набело!

Ответа жду,
Дрожит рука,
Твоя усмешка слышится:
— Ну знаешь! Без черновика
Немногое напишется.

г. Междуреченск

Семен Печеник

* * *

Иду по угасающему снегу,
О, этих синих теней невода!
Какая свежесть в мартовском набеге,
Как пахнет небом талая вода!

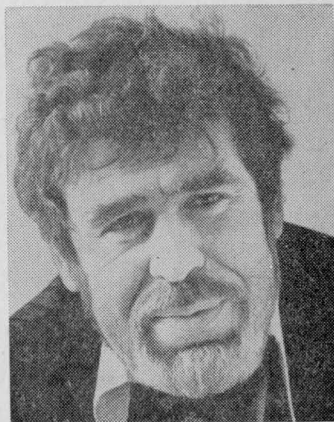
А полночь бредит неземными снами...
И, поднимая к небу дерзкий взгляд,
Вдруг понимаешь, почему над нами
Так близко звезды юные горят.

* * *

Закаты горят и восходы,
Как прежде горят, как всегда,
Но тайные силы природы
Готовят уже холода.

Вот изморозь шпалы покрыла,
В реке холодеет вода,
И в небе надолго застыла
Замерзшая в полночь звезда.

Вот стая на юг потянулась
В туманную зябкость утра.
Как горько ты мне улыбнулась:
«Любимый, прощаться пора...»



* * *

Осенний день,
И первый снег целует
Грудь женщины
На цирковой афише,
И кажется: волнение поднимает
Высокую и молодую грудь.

В такой вот день
Не знаешь, что поделать —
Уйти в обнимку
С молодой вьюгой?
Нет — в цирк пойти!
А цирк уже уехал...

* * *

Ты видишь — полынь
В затвердевшем снегу —
Замри, Человек,
Оглянись на бегу!

Там черные, стылые,
Мертвые стебли,
Там чью-то судьбу
Этой стужей колеблет.

Замри, Человек,
Оглянись на бегу.
Ты видишь:
Полынь — в затвердевшем снегу.

Сорвать не смогла ее
Жесткая сила,
И в этом —
Примета земли нашей милой.

*ПАМЯТИ
ЕВГЕНИЯ БУРАВЛЕВА*

Что бы жизнь ему ни давала,
Человеку все мало, мало!

Е. БУРАВЛЕВ

Человеку нужно
Много:
Бесконечная дорога,
Луч звезды
В крошечной мгле.

Человеку нужно
Мало:
Чтоб душа его летала!
Сам
Пройдет
И по земле.

* * *

Стоят здесь терема
Скрипучие,
На чердаках
Лежат иконы,
Я поцелуями замучаю
Тебя, любовь моя, Алена.

Ах, город Томск,
Старик дремучий!
Я сохну,
Стал с лица черней.
И шепчут губы мне певучие —
Люби, люби
И не жалеи.

* * *

Случилось видеть мне однажды:
Всю страсть вложив
В свирепый рык,
Два волка,
Люто и отважно,
За самку сшиблись —
Клык на клык.

А рядом в зарослях охотник —
Спокойный малый,
С ружьем, —
Следил
За разъяренной плотью,
Чтоб победителя —
Свинцом.

Теперь,
Едва где вспыхнут войны,
Мне чудится — недалеке
Ждет третий.
Щурит глаз спокойно.
И палец держит
На курке.

РАССКАЗЫ О ШАХТЕРАХ



ДЕД АСТАФЬЕВ

Уже многие годы дед Астафьев приходил на шахту раньше других и, прежде чем идти на свой участок, поднимался на второй этаж в дежурку.

Еще с порога он неизменно вместо приветствия начинал свою сводку погоды: «Етта... днем дождь будет» или «Етта... через недельку лист пробьется».

Прогноз деда тут же обсуждался и сравнивался с тем, что сообщило о погоде радио, и, если в этом незримом споре Астафьев оказывался правым, кто-то обязательно вспомнит и при случае скажет: «Говорил же дед!»

Дед Астафьев был высок и не по годам строен. Ходил он чуть прихрамывая, но насколько не сутулясь. И, будь он всегда чисто выбрит и аккуратно одет, подстриги он свои лохматые волосы, — даже мы, молодежь, поняли бы, что не такой он старый и уж вовсе не дед.

Говорил Астафьев, слегка заикаясь. Мальчишкой в гражданскую его контузило, и поэтому как бы для разгона он начинал почти всегда с известного всей шахте «етта».

С любым начальством он держался на равных, уверенно и независимо. И порой было

удивительно наблюдать, как некоторые нетерпеливые начальники слушали, сдерживая себя, медленную косноязычную речь деда с бесчисленными «етта».

Однажды новый управляющий рудника, слушая отчет деда, — а он был тогда начальником добычного участка — резко оборвал его. Астафьев на минуту смолк, потом как-то странно посмотрел на управляющего. Тихо, но веско снова заговорил: «Ты етта... сынок, не торопись. Я ведь за стул начальника участка не держусь, а с земли меня не сбросишь. Когда я эту шахту закладывал, ты, етта... еще без штанов под стол ходил. Разобрался бы толком, чем шуметь-то».

Управляющему хватило ума деда больше не трогать, да и отчеты других пошли без излишней нервозности. Правда, деда вскоре перевели на ремонтно-восстановительный участок — нет, мол, нужного образования. Однако это не изменило его особого положения на шахте.

О том, как закладывалась шахта, дед рассказывал при любом удобном случае — в мойке ли, в дежурке ли, а то где-нибудь на полянке возле шурфа, — и всегда у него находились внимательные слушатели.

— Етта... — раскуривая папиросу, начинал обычно Астафьев, — было это, помню, аккуратно в июле тридцатого года. Кругом, где ныне город, — сплошь березняк. Если и встретишь елку, то она, как та царевна в белом хороводе баб. Березки ровные, стройные. Это сейчас они, етта, на ветру и голом месте кручеными стали.

А полянки — любой девке на вкус. Трава высокая, мягкая, душистая. Етта... куда вы теперь за шесть копеек на автобусе домой ездите, мы с ночевкой на лошадях добирались. Вот ведь! Пока, бывало, по лесу едешь, такой красоты насмотришься, что теперь ни по какой путевке, что шахтком дает, не увидишь.

Пришли мы на место, где теперь скиповый ствол. Осмотрелись. «Здесь, — говорит маркшейдер, — и начнем».

Забили по его отметкам на поляне колышки. Етта... поставили у каждого по пол-литра. Сняли дерн — и шабаш. Уселся на травку и, етта... как Райкин говорит, «банкет устроили».

Назавтра стали копать. Лопатами, точно тебе большой погреб, рыть стали. В скорости полки промежуточные поставили и вперекидку пошли. Труднее стало.

Затем лебедки подоспели — дело веселее пошло. И хоть плачь — березки под топор пошли. Каких молодух порубили! Все думали — много их — лес цельный. А где он теперь? В настоящую-то тайгу самолетом летать надо. Хоть и вручную, но с лебедками-то быстрее пошли. В месяц двадцать-тридцать метров готового ствола давали. А когда на нижнюю отметку сели, квершлаг засекали. На всю округу праздник был — шахту пускали. Вот, считай, с первой лопаты мой стаж и пошел.

За четверть века работы на шахте Астафьев больше половины, пока, как он сам говорил, не вышел в начальники, работал лопатой, кайлом, топором. Да и теперь при случае мог он не хуже молодого поставить «круг» или несколькими точными сильными ударами разрубить стойку. Он познал многие шахтерские профессии, но дольше всего был посадчиком.

Эта работа, где шахтер всегда лоб в лоб с природой, требует отчаянной смелости, необыкновенно быстрой реакции и большой физической силы.

Природная восприимчивость и постоянное, пусть подсознательное умение анализировать позволили Астафьеву овладеть особо тонким пониманием природы Горы. По каким-то только ему понятным приметам он почти безошибочно предсказывал, как поведет себя новая лава и какие неожиданности могут встретиться при ее отработке.

Но вершиной прозорливости и мастерства деда была и оставалась посадка лавы. Он, как никто другой на шахте, определял момент, когда нужно начинать посадку лавы и что делать, если она прошла не так, как ожидалось.

Искренняя, абсолютно бескорыстная доброта деда была столь велика, что он, не задумываясь, мог сделать немалый крюк в шахте и без всякого приглашения появиться в лаве, где ожидалась общая посадка, внимательно осмотреть выработку, чутко послушать, как она дышит, дать свой совет, когда и как надо бы садить лаву. Астафьев просто не мог не отдавать людям того, что знал и что имел.

Помню, однажды после общей посадки «лава не села». Посадчики вырубили все стойки, а кровля завального пространства не шелохнулась.

Работать в таких условиях в лаве нельзя! Никто не знает, как дальше поведет себя кровля. Она может тут же рухнуть, а может висеть так часы, дни, недели. Что делать? Ждать самообрушения, но сколько?

Главный инженер шахты, дед Астафьев и начальник участка поднялись по лаве вдоль нескольких рядов стоек, предохраняющих от завала рабочую дорожку у груди забоя, и бросили в зловейшую темноту обрушаемого пространства снопы света своих ламп.

Свет выхватывал кучи угля и породы, перерублены стойки и верхняки. Над всем этим на высоте двух метров угрожающе нависла серая, размером с футбольное поле каменистая плита кровли.

— Да!.. Ситуация, скажем прямо, непростая, — нарушил молчание главный.

— Етта... аккуратно над лавой песчаник оказался — вот и чудо. Он и держит, — пояснил дед.

— Так что же с ним, залятым, делать? — тревожно обратился молодой начальник участка к Астафьеву.

— Как что? Взрывать! Иначе, етта, кто знает сколь ждать придется, пока сверху надавит.

— Если вверху песчаник, то, видимо, без взрывных работ, действительно, не обойтись, — поддержал деда главный. — А если причина другая? Может быть, мы просто с посадкой поторопились. Начнем бурить, а кровля сядет? Что тогда?

— Етта... по всем приметам всему виной песчаник. Кровля ведь совсем молчит, да и давление на стойки невелико. Ну, а кроме того, я этот пласт давно знаю.

— Может быть, и прав ты, Дмитрий Егорович, — продолжал сомневаться главный, — но, где гарантия? И бурить при таком риске кого пошлешь?

— Етта... раз кровля сразу не села — она теперь и месяц простоять может. Помню, мне в такой завал дважды пришлось лазить. Раз взорвали, а кровля чуть просыпала и висит, холера. Пришлось второй раз бурить. Вот тут было действительно страшновато.

— Кто знает? В нашем деле раз на раз не приходится, сам знаешь. Думаю, — продолжал мысль главный, — надо еще сутки-двое подождать, а уж потом, если сама не сядет, бурить и взрывать.

— А по мне — наоборот. Чем раньше начать бурить, тем тревоги меньше. Етта... — повернулся дед к начальнику участка, — пусть сверло тащат. Я начну, а там, смотришь, и твои бурильщики осмелеют.

Начальник участка вопросительно посмотрел на главного, тот чуть кивнул, хотя чувствовалось, что сомнения его еще не покинули.

Все, кто ждал внизу лавы итога этого необычного совета, вдруг увидели, что в завале движется свет.

Кто же решился на это? И тут же подумали: дед! — и не ошиблись.

Пока искали бур и коронки, подтаскивали кабель, дед Астафьев не спеша лазил в зава-

ле, внимательно осматривая порубанные стойки и кровлю, обстукивал ее палкой.

Я смотрел, как метался свет в завале, и думал о том, что вот становятся же люди под мост, который они проектировали и строили, когда он принимает первый железнодорожный состав. Тоже страшновато, но люди верят точности своих расчетов. А во что верит дед? В свой опыт, в свою интуицию? Но ведь она-то, интуиция, тоже складывается из проб и ошибок. А что, если дед сейчас ошибается? Но свет по-прежнему мелькал в завале.

Осторожно, словно вступая в ледяную воду, в завал шагнул главный инженер.

Дед что-то стал пояснять ему, сердито стуча своей палкой по кровле. Вышли к груди забоя и здесь решили, что дед все-таки попробует несколькими скважинами определить крепость песчаника под обнаженной кровлей, а уж потом составить паспорт и вести работу по всем правилам.

Оттого, что вначале один, а потом двое побывали в завале, и, не торопясь, спокойно беседуют, как будто над ними не каменная плита, способная мгновенно рухнуть и уничтожить все живое, а привычный, надежный потолок, мы тоже стали смелее. И, когда дед Астафьев взялся за сверло, бригадир Конев тоже подхватил его, и они потащили кабель в завал.

Бурить вручную всегда нелегко, но во много раз труднее эта работа, когда скважину нужно делать над собой, в кровле. Сверло приходится постоянно держать на весу, и здесь все решает крепость мускулов рук.

С бура бежала тонкая струйка светлого штыба. Когда Астафьев и Конев делали паузу, дед черпал ладонью крошево кровли и перетирали его пальцами, тщательно рассматривал.

После третьей скважины они вернулись из завала.

— Етта... думаю, что песчаник близко. После хорошего взрыва лава должна сесть сразу, — заключил дед свои наблюдения.

Назавтра, как и предсказывал дед, лаву посадили, да так удачно, что сразу смогли начать добычу угля.

Днем в дежурке подробно обсуждали про-

шедшую посадку. И стоило туда заглянуть деду Астафьеву, как он сразу нашел благодарных слушателей.

— Етта... когда садить лаву, спрашиваете? Главное тут уметь слушать и понимать, что она сказать хочет и как просится на посадку. Хотя она, холера, и грозная, но на самом деле, как малое дитя, бессловесная. А с ним как: чуть прозевал — и мокрый. Почаще заглядывай в завал, приглядывайся, да примечай. Стукни по стойке и слушай. Лава тебе звуком скажет, как ее давит... А потом затихни. Вслушайся. Кровля тоже по-своему «говорит», когда на посадку просится.

На любой шахте есть люди, авторитет которых намного выше их официального положения. Авторитет деда Астафьева покоился на его удивительном горняцком искусстве, цепкой памяти на людей, события, смелости в отстаивании интересов дела. И хотя дед был до придирчивости требователен ко всему, что касалось работы, все знали и чувствовали его доброту к людям и, может, даже излишнюю снисходительность к их слабостям.

Вспоминается такой случай. Лето. Четыре часа дня. В шахтовой столовой уже немногочисленно. За столиком у окна четверо молодых рабочих. Они уже навеселе, потому, пренебрегая требованиями, смело выставили на стол очередную бутылку белой.

Дед Астафьев, заметив шумную компанию, направился к ним.

— Етта... что вы в будний день праздник устроили?

— Да мы, Дмитрий Егорович, Васькин день рождения отмечаем, — поспешил сообщить один из горняков, который хотя и смутился от вопроса деда, держался достаточно вызывающе: мол, за свои, где хочу, там и пью.

— Етта... брось дуришь! Васька твой январский, а сейчас июль.

— Все-то ты, дед, знаешь! Ну, просто встретились старые друзья! Нельзя отметить?

— У тебя кажный, кто с бутылкой, друг. Потому ты и не просыхаешь. Мало тебя, Ана-

толий, гоняли, мало! Етта... ты и на казенной кровати переспать можешь, а им завтра лаву рубить! А ну, подымайтесь — и по домам!

— Да ладно, я твоих «етта», пока на участке вкалывал, досыта наслушался. Допьем и пойдем. Здесь ты и им не начальник. Так что не мешай культурно отдыхать!

Двое из четверых были с участка деда. Это были еще молодые ребята, которым завтра впервые предстояла трудная и опасная работа — общая посадка. Третий — Анатолий, тоже когда-то работал в шахте, но спился и теперь перебивался шабашкой. Он хоть и огрызался, но явно побаивался деда.

Четвертый, здоровый мальчик с выступающей из-под майки замысловатой наколкой на груди, был незнаком деду. Он не принимал участия в споре, но на его осоловевшем лице росло напряжение.

— Етта... начальник у каждого должен быть в голове, а ежели нет...

Дед резко нагнулся над столом, захватил бутылку и, не разгибаясь, бросил ее в открытое окно.

— Ты что, паскуда! — взревел, поднимаясь из-за стола четвертый.

Но тут же две сильные руки, слева и справа, рванули его вниз. Он плюхнулся на стул и недоуменно посмотрел на ребят, которые прочно припечатали его к сидению.

— Етта... Василий, теперь забирай Петра и марш по домам! Тоже мне, нашли друзей!

Василий и Петро встали и, как нашкодившие дети, опустив головы, потянулись к выходу. Суетливо засобирались и Анатолий.

— Етта... как тебя? — обратился дед к четвертому. — Смотри, браток, а то следом за бутылкой отправлю.

Дед Астафьев был физически еще очень силен и при случае мог скрутить и молодого — это знали все. Но не эта сила удержала компанию от скандала: с четырьмя он бы все равно не справился. Уважение к деду было столь велико и общепризнанно, что не подчиниться ему было просто невозможно.

Когда у шахтеров заходила речь об авторитете, высказывал об этом свои мысли и Астафьев:

— Етта... ты только появился на участке, а люди сразу прикидывают, пришел ли ты вкалывать или так, стаж на пенсию набирать. Ведь, как ни изморяй, одна у человека мера — его работа. Етта... шахтера не обманешь. Если ты боишься лишний раз спец надеть, а как что, только виноватых отыскиваешь, — не жди авторитета. Не придет он аж до седых волос! Шахтер тебе многое простить может. Ну, ты там, допустим, грубый или резкий, шибко резвый или робкий, соображаешь долго или силенок недостает, или еще какая причуда. Главное — все ли ты, что можешь, делаешь, чтобы у него честный заработок был. Бывает и по-другому. Пока молодой, в делах прыток и с народом душа в душу. А как выше полез — и не узнать. Куда все девалось? Вот и сплясал авторитет — одна должность осталась. У такого как стул отнимут, так сразу обмяк, как будто из него воздух выпустили. Я так думаю, без авторитета нет настоящего начальника, а есть только половина или того меньше.

Вся жизнь деда Астафьева была посвящена

шахте, ее ритму, ее радостям и горестям.

Жил он недалеко в крепком рубленом доме, постройкой которого, пожалуй, и кончились его заботы о семье. Все остальное решала и делала жена. Три дочери, мужа которых тоже были шахтеры, жили самостоятельно.

Несмотря на возраст и стаж, дед Астафьев на пенсию не уходил: «Етта... что дома сидеть? Только бабе мешать».

В больницу его увезли прямо с наряда. Умирал дед долго и трудно: сильный организм не хотел сдаваться.

Со смертью деда шахта потеряла не только еще одного доброго человека, но что-то существенно большее, постоянно необходимое.

И долго еще в дежурке всем не хватало неторопливого, хрипловатого «етта». Это было не столько ощущение потери привычного, как если бы вдруг срезали копер и неизменный контур шахтных зданий стал более низким, сколько ощущение, которое испытывают горняки, когда в рудничном воздухе становится чуть-чуть меньше кислорода — как будто все та же атмосфера, а дышится труднее.

АВАРИЯ

В лаве их было шестеро. Колесников вел комбайн, а Конев и еще четверо рабочих крепили лаву.

Все произошло настолько неожиданно и быстро, что каждый из них, подчиняясь инстинкту самосохранения, действовал, не осмысливая происходящего, и позднее даже не мог точно восстановить картину событий.

Лавина мутной воды с кусками угля и штыбом, щепой и обрубками крепления обрушилась в лаву, подхватила и понесла шахтеров.

Потоком воды людей бросало из стороны в сторону, прижимало к почве и поднимало к кровле, било о стойки и борт забоя, с них сорвало каски, и они остались без света.

Много ли времени прошло с того мгновения, как под напором воды, накопившейся в водосборнике, рухнула подрезанная комбайном стена угля, и вот они, мокрые, с волоса-

ми, забытыми илом, в ссадинах и царапинах, в разорванных спедовках оказались выброшенными в метрах десяти от лавы, туда, где начинался подъем штрека. Их спасло то, что водосборник был сравнительно небольшим, промежуточным, и поток воды, вымыв лаву, выдавив перемычки штрека, ушел на нижний горизонт. Но часть выработки, где находилась глубокая впадина — мульда — осталась под водой.

Первым пришел в себя бригадир Конев — невысокий коренастый крепыш. Он нашарил рукой провод от аккумулятора. Головка светильника на ощупь казалась целой, и Конев, чуть приподнявшись, повернул выключатель.

Свет вырвал из темени остальных членов бригады, которые были почти рядом с ним.

— Все живы? — Конев осветил мокрых перемазанных грязью товарищей, их удивленные и растерянные лица.

— Значит, подрезали-таки водосборник. А говорили, что еще семь дорожек в запасе. А где Володька?

Все невольно осмотрелись вокруг, как будто бы комбайнер мог где-то спрятаться. В момент прорыва воды он был у машины. Кто-то даже вспомнил, что слышал, как он крикнул: «Вода!»

Но где Колесников сейчас? А что если его привалило углем у комбайна или замыло штыбом в лаве? Да мало ли что может случиться с человеком, первым принявшим на себя удар стихии.

Будь сейчас Володька рядом, они бы уже поспешили выбраться на-гора: сбросить мокрую одежду, помыться, перевязать раны и ссадины, просто прийти в себя от пережитого. Но Володьки нет! Значит, надо забыть о дороге вверх и искать товарища. Но где искать и как? Снизу в лаву не пробиться — затоплен штрек. Остается добраться сверху. Но вот беда — на пятерых осталось только две исправных лампы.

— Василий! — обратился Конев к самому молодому рабочему, — ты постарайся без света добраться до телефона и вызвать помощь, а мы с лампами пойдем в лаву.

Пятеро тяжело и устало выбрались на уклон, дошли до вентиляционного штрека. Посветили уходящему в темноту Василию, взяли запасной инструмент и по штреку проникли в лаву. Вот и комбайн, заваленный до кровли углем и породой. Облазили и осмотрели завал — Колесникова нигде не было.

Где же он? Убежать на поверхность, испугавшись случившегося — чего греха таить, бывает и такое, — он не мог. Это понимали все. Володька не той закваски. Завалило? А может, тоже понесло вниз потоком?

Конев оставил двоих горняков с одним светильником разбирать завал, а сам решил попробовать пробраться в лаву снизу, через затопленную мульд. Ему хотелось верить в то, что ловкий и проворный Володька успел все же выскочить из-за комбайна, и сейчас, возможно, сбитый водой лежит где-то в лаве.

«Конечно, — убеждал себя Конев, — лежит Володька. Будь он на ногах, нашел бы способ

дать знать о себе. Кричал бы или стучал бы по конвейеру».

И вот они опять у края мульды, куда их выбросила лавина.

Конев считал, что длина сплошь затопленного участка штрека, невелика — пять-семь метров. Надо нырнуть в холодную грязную воду, проплыть под ней эти пять-семь метров, а там еще немного — и лава. Если, конечно, проход в нее не забит углем. А как тогда? Вернуться — хватит ли воздуха? Как ориентироваться в такой мути?

А может, подождать? Ведь еще минут через двадцать, ну от силы полчаса — спасатели будут здесь: Василий-то наверняка поднял тревогу.

Он рискнет, а после этого не придется ли спасателям искать двоих? А четверо ребят-шек, которые останутся без отцов? У него двое пацанов, да у Колесникова дочь и сын.

А вдруг этих самых двадцати минут и не хватит Володьке? Он бы, наверно, не стал медлить ради товарища. Ведь вернулся же он тушить горящий кабель, когда все убежали, — вдруг вспомнилось Коневу.

Тогда, как только яркими, стреляющими брызгами разметался по монтажной камере фонтан искр, ударивший из раздавленного кабеля, все бросились бежать, опасаясь взрыва.

Побежал и он, Конев. И без оглядки. Быть бы ему на коренном штреке, если бы навстречу не пробежал Володька. Даже сейчас, по прошествии не одного года, показалось, что откуда-то издалека эхом вернулся его тогдашний испуганный надрывный крик: «Володька! Куда? Назад... Назад!..» И в который раз ему стало не по себе оттого, что, чуть повременив, он пустился догонять мечущиеся по уклону огни, понося сдуревшего, как ему думалось, комбайнера.

Позже, когда вернулся на-гора вместе со спасателями, Колесников спокойно рассказывал:

— Сначала я тоже припустил будь здоров, а потом решил: раз взрыва нет, то вряд ли уже будет. А если не потушить кабель — не миновать пожара. И рванул назад. Влетел в камеру и давай сланцевой пылью засыпать

горящий кабель... Да нет! Страх не испытывал, как-то некогда было! Тушил — и все.

И он сумел один до прибытия горноспасателей справиться с огнем. Правда, руки обжог, спец пропалил, но, кто знает, может быть, спас участок, а то и шахту. Никто тогда не упрекал ни Конева, ни других членов бригады за то, что убежали, но поступок Колесникова волей-неволей так и отложился в шахтерской совести.

Когда в шахте авария, первое дело — вызвать спасателей, а спешить на-гора или бороться с огнем — советчик в том совесть и здравый смысл, и никто другой.

«Нет, надо спешить, — Конев задержал взгляд на уходящем в лаву кабеле. — Вот и ориентир!» Он перебросил головку светильника на грудь и, обращаясь к напарнику, сказал:

— Попробую, авось, пробьюсь. А ты сиди здесь. Если что — расскажешь.

Он нырнул в холодную муть и, перебирая руками кабель, поплыл к лаве. Отсчет был простой: как стойка — так метр. У четвертой стойки стало не хватать воздуха, и Конев, круто развернувшись, выскочил из воды, больно ударившись головой о кровлю.

— Что, нет прохода? — забеспокоился напарник.

— Не знаю, — наконец отдышавшись, ответил бригадир. — Я только четыре стойки осилил, духа не хватило.

— Давай я попробую.

— Да нет уж, сиди! — разозлился на себя Конев. — Я еще раз...

И, набрав полную грудь воздуха, он снова резко нырнул в воду. Нашупал кабель и как можно быстрее начал перебирать его руками. Вот и четвертая и пятая стойка. У шестой тисками стиснуло грудь. Конев отчаянно рванулся вдоль кабеля и, глотая грязную воду, кинул тело вверх. И тут вдруг почувствовал, что между водой и кровлей есть щель с воздухом. Он судорожно вздохнул. Дальше пошло легче:

скользя головой по кровле и сплевывая гадкую гущу, он метр за метром пробирался вперед. Воды становилось меньше. «Неужели проскочил?» — подумал Конев и только теперь почувствовал, как ему холодно.

Как он и предполагал, проход в лаву почти до самой кровли был забит штыбом и переломанным деревом. Выбрав доску, начал разбрасывать завал.

Вдруг рухнула стенка прохода из мокрого штыба и вдавила его в грязное месиво почвы.

Конев некоторое время лежал неподвижно. Потом уперся локтями в почву, и, напрягшись, стал выбираться из-под штыба. Перебрав всех святых, принялся яростно расчищать проход. Наконец — лава, можно встать во весь рост. Вода все снесла, и под ногами, куда хватал свет, лежали серые отмытые плиты сланца.

Колесников лежал на конвейере, Конев наклонился над ним: Володя тихо стонал.

— Это ничего, главное, жив, — дорогой ты мой! — вслух заговорил Конев. — Сейчас мы тебя приведем в порядок.

Он приподнял комбайнера, бережно уложил на промытую водой сланцевую плиту, растегнул на груди спецовку.

Вспоминая, чему его когда-то учили по оказанию первой помощи, начал массажировать грудь, тереть виски Колесникову.

Комбайнер открыл глаза, а потом тихо и тревожно спросил:

— Ребята как?

— Да живы, живы ребята, — обрадовался Конев. — И у тебя все цело, оглушило малость, пройдет...

Снизу по лазу, пробитому Коневым, показались двое спасателей-аквалангистов.

Володю вынесли на поверхность на носилках. И только через месяц в бригаде вновь покатывались от его озорных солоноватых шуток.



ПОРТРЕТ

РАССКАЗ

Ире Правдиной недавно исполнилось пятнадцать. Выросла она без матери, та умерла, когда девочке было четыре года.

И вот уже пятнадцать. Закончила восемь классов и осенью пойдет в девятый.

Это был тоненький голенастый подросток с выгоревшей на солнце мальчишеской прической, подвижный и беззаботный. И какие заботы-тревоги в пятнадцать, когда радостно засыпается, видятся розовые сны и с пробуждением ощущается в теле такая сила, что разгонишься хорошенько, оттолкнешь от земли — и взлетишь в небо подобно птице.

Предошущение какого-то большого радостного праздника не покидало девочку в это лето, будоражило воображение, заставляло сердце биться сильнее и наполненной.

Ира — дочь завхоза школы, человека нестарого, медлительного в движениях, печального лицом и фигурой. Живут они вдвоем недалеко от школы в доме, который был выделен сельским Советом Ириной матери как учительнице еще до рождения девочки. Дом снаружи обветшал, но внутри опрятно, просторно и тихо, на стене в рамке под стеклом висит увеличенная фотография матери.

Отец Иры, Иван Дмитриевич, больше так и не женился, воспитывал дочь сам, держал не

в строгости, но к труду приучил. Многие обязанности по дому легли на нее. И Ира выполняла их умело, с чисто женским усердием. Близких друзей у девочки не было. Может, потому, что школа стояла в стороне от поселка. Но девочка не скучала: читала, работала по дому, много времени проводила на спортивной площадке при школе и в самой школе. Утром бежала босиком по росной траве к спортивным снарядам, погам было щеотно и холодно, к ним липли сбитые на ходу лепестки цветков и пух одуванчиков. Взялась на спортивное бревно и ходила по нему, взмахивая руками и перебирая пальцами, словно отыскивая невидимые нити, за которые можно было удержаться. Ступала по бревну зажмурившись, нарочно испытывая и перебарывая отдающее холодком чувство боязни свалиться в темноту. Подпрыгивала и хваталась руками за перекладину, висела «колбасой», сколько выдерживали тонкие пальцы рук, болтала в воздухе ногами и, склонив голову, наблюдала, как они «стригут» сначала ровно, будто ножницы, а потом все больше разметываются в стороны, и уж теперь не она, а ноги управляют телом, вертят его как хотят. Ее начинал разбирать безудержный смех, отчего силы враз иссякали, и она, не

успев принять нормального положения тела, по-лягушечьи неуклюже плюхалась на землю.

Ей очень нравилось бывать в пустых классах школы, когда из них вынесены все столы и парты, полы покрашены и уже подсохли, а окна и двери настежь отворены. В стенах школы ее иногда охватывала легкая грусть об ушедших днях учебы, приходили радостные мысли, что осенью начнутся занятия, вновь станет интересно и весело, а когда сильно задумывалась, казалось, что слышит шум голосов, похожий на отдаленный шум речного переката. Но задумывалась редко, чаще была в движении. Любила помаршировать босиком по прохладному полу, что-то прокричать и потом слушать, как голос уносится по длинным коридорам и бестолково мечется по всем классам, пока случайно не выскочит через окно на улицу или пока, окончательно не обессилев, не замрет в каком-нибудь глухом углу здания.

Гонять эхо своего голоса по коридорам и классам пустой школы — удовольствие, доступное только Ире: живет рядом со школой, и отец разрешает бывать в ней.

Было у девочки в школе излюбленное место — актовый зал, помещение огромное и светлое, с высоким потолком и окнами. В нем она, когда на улице лил дождь или сильно некло солнце, рисовала одинаковых человечков с круглыми, как солнце, рожцами и с раскинутыми в стороны руками-спичками. Называла их Ира «мои марсиане», и никогда не наступала на них, чтобы не сделать им больно. А эхо в актовом зале звучало особенно переливчато и звонко, и Ира каждый день бегала вызывать его.

И на этот раз она не изменила своей привычке. Гоня перед собой волну воздуха, пущившего ей платье и вздохмачивающего прическу, стремглав промчалась по коридорам, влетела в зал и зашлепала голыми подошвами по квадратам «классов». Пройдя их до конца, хлопнула в ладоши и громко крикнула: «Гопля!» Звук «ля» ударился в стены и потолок, рассыпался на множество «я» и стал затихать в углах помещения. Но часть отголосков эха вырвалась в коридор и теперь грохотала где-то в другом конце школы.

Когда эхо еще не умолкло, девочка обернулась и... увидела в зале человека. Это было так неожиданно, что она вздрогнула, замерла, как изваяние, и широко открытыми глазами уставилась на незнакомца. Незнакомец стоял возле той стены, где был вход в зал, и потому Ира не заметила его сразу, как вбежала. В руках он держал кисть для рисования, а на стене уже был изображен ярким пятном кусок картины — берег реки или озера.

Незнакомый человек лет двадцати пяти с нескрываемым интересом смотрел на девочку, она на него.

Постепенно Ира вышла из состояния оцепенения, сорвалась с места, выскочила из зала и, не помня себя, вбежала в первые же открытые двери класса. «Как маленькая... в «классики». Стыд-то какой!». Она прикрыла лицо руками и почувствовала, что ладоням жарко — так сильно пылало лицо.

Ире вспомнился недавний разговор директора с отцом, когда директор сказал, что должен приехать в школу художник для росписи стен в актовом зале.

Она все еще терзалась, что попала в неловкое положение перед незнакомым человеком, а сама пыталась представить его лицо. Ей казалось, что смотрела на художника до неприличия долго, и память ее должна была зафиксировать его облик с достоверностью фотопленки. «Лохматый», — вспомнила Ира, — руки испачканы краской...

И все. Больше ничего вспомнить не могла — «фотопленка» оказалась засвеченной. «Как же так, — растерянно думала девочка, — я же смотрела на него целую вечность... Густая черная шевелюра... небольшая бородка». «Почему бородка?» — спросила она себя. И ответила: «Раз художник — значит, с бородкой». И через некоторое время сомнение: «А может, без бородки?.. Нет, кажется, с бородкой. Или все-таки...» Она упрямо закусил губы и в нетерпении застучала кулачками по подоконнику. Почувствовав боль в руках, прекратила стучать и подумала: «Затмение на меня нашло, что ли? Глядела в упор на человека и не заметила, с бородкой или без бородки». И больше не раздумывая, решила пойти и посмотреть на художника еще раз.

Смело направилась в зал, но устыдилась, вспомнив, что босая. Побежала домой, лихорадочно стаскала в одну кучу всю обувь и стала перебирать. Выбрала туфли на высокой подошве-платформе, хотя носить их не любила: были неловкими и тяжелыми, при ходьбе выворачивали в щиколотках ноги. Но обулась все же в них и важно направилась к школе, умышленно укорачивая шаг, чтобы выглядеть со стороны солиднее и достойнее. Войдя в актовый зал и сделав вид, что только теперь заметила незнакомого человека, коротко произнесла:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — пряча улыбку в уголках губ, ответил художник. Ему наверняка бросились в глаза на толстой, как кирпич, подошве туфли, которые не очень-то подходили к длинным ногам девочки, ее мини-платицу, всей тоненькой фигурке. Это, возможно, и вызвало его усмешку.

Ира сплела пальцы рук и, вывернув ладони наружу, опустила руки книзу качелькой и в вольной позе, чуть наклонив набок голову, стала смотреть, как кладутся на стену мазки красок, и исподволь наблюдала за самим художником. Никакой бородки у него не было и лохматым он не был. Лицом чист, и темно-русые волосы были гладко зачесаны, сзади ровно подрезаны и от макушки к затылку завивались крупными кольцами более темного цвета, чем спереди, где больше выгорели на солнце.

Время от времени художник поглядывал через плечо на девочку, замечал, как она стремительно ловит в перекрестие своих чуть выпуклых глаз его глаза. Он сбился с ритма и начал мурлыкать какой-то мотивчик, отошел от стены, наклонив голову на одну, потом на другую сторону, и как бы с недоумением стал оценивать то, что шло из-под кисти.

Ира, считая, что торчать за спиной занятого делом человека неприлично, тихонько вышла из зала. Уединилась в пустом классе и по свежим впечатлениям стала вновь набрасывать в воображении портрет художника. Она ясно видела цвет волос, овал лица, очертания бровей, линии губ... Неуловимым оставался цвет глаз. «Ну какие они! Какие!? — спра-

шивала себя девочка. — Я же видела! Я же глядела в них!» — ее разбирала досада на свою некудышнюю память и вспыхивало желание снова пойти в зал, чтобы посмотреть и запомнить наконец, какие у художника глаза. «Третий раз, — охлаждала ее мысль, — считается еще ненормальной. Хватит на сегодня и двух. Хватит!» — приказала она себе и пошла домой.

Странно, но ничего у нее в тот день не случилось. При мытье посуды выпала из рук и разбилась тарелка. Пошла в огород полоть картошку и нечаянно срубила полоску щавеля, посаженного отцом среди гряд картофеля. Из головы не выходил художник. «Какие же у него глаза?..» — с этим вопросом она ушла.

Утро следующего дня выдалось прекрасным, прекрасным было и настроение девочки. Ира оделась, покрутилась перед зеркалом и направилась в актовый зал. Сначала побежала, но возле школы опомнилась — не маленькая ведь — и перешла на шаг. Вежливо сказала художнику свое «здравствуйте» и, когда тот ответил на приветствие и задержал на ней взгляд, почувствовала сильное сердцебиение и желание убежать. Но убежать — несолидно и даже смешно, и она дала себе зарок, что, если художник будет слишком откровенно разглядывать ее, тогда она гордо уйдет.

В зале появились новые предметы: раскладушка, стремянка, стол, на столе электроплитка, чайник и кое-что из посуды.

Художник посмотрел на Иру внимательно еще раз, потом еще, и она почувствовала, что никуда не убежит, что ей даже приятно испытывать на себе взгляды этого человека.

Некоторое время художник работал молча, затем спросил, какой класс она кончила.

— Восьмой.

— А звать как?

— Ира.

— Хорошее имя, — заметил художник. — А я Андрей.

— Ага, — сказала она и подумала, что никогда в жизни не осмелится назвать его по имени.

Ира всецело была поглощена тем, что стремилась уловить, какие у художника глаза. Это было нелегко, потому что они то и дело

менялись: то в них отражались цвета красок, то они искрились, то их застилали загадочные тени. «Издали не определишь, — подумала девочка. — Вот если подойти близко-близко и посмотреть в них долго-долго...» От этой смелой мысли ее бросило в жар, и она поторопилась выйти на улицу.

Дома подошла, будто оно ее подманило, к зеркалу и стала рассматривать себя. «Не хуже других, — подумала, сравнивая себя с девочками из своего класса. — Только вот волосы слишком коротко острижены и непокорны, и из них нельзя сделать модную прическу». Под рукой на туалетном столике лежала пачка фотографий артистов кино. Жадно принялась разглядывать их прически и прикиды-вать, какая больше всего подошла бы ей. Все прически Ира забраковала и стала думать о художнике. Если бы у нее была его фотография, она по клеточкам написала бы его большой портрет. Так, она знала, делают. Но фотографии у Иры не было. С задумчивым видом она взяла тюбик губной помады, забытый на туалетном столике сестрой отца тетей Машей, и начала на обороте первой попавшейся открытки рисовать по памяти портрет художника. Обвела овал лица, внутри широко прочертила брови, перевернутой запятой обозначила нос, знаком равенства — губы. По сторонам овала прилепила уши-вопросики, сверху намазала чуб. Посидев, подумала и принялась пальцем доводить портрет до конца. Чуб, что топорщился над овалом, стал приобретать вид длинных кудрей. Затем очередь дошла до бровей, до остальных черт лица. И вот получился некто огненно-рыжий, ни на кого не похожий. «Тем лучше, — подумала девочка, — кроме меня никто не будет знать, кто это», — и воткнула открытку в торец зеркала.

Во все последующие дни Ира наведывалась в актовый зал регулярно, как на занятия в школу. Заходила с робостью, скороговоркой произносила свое «здравствуйте» и садилась на низкую сцену. «Здравствуй», — нараспев отвечал художник и добавлял всякий раз: «принцесса замка» или «Алиса из страны чу-

дес», или еще что-нибудь в этом роде. Андрей работал, а Ира смотрела. Ей хотелось о многом спросить: например, о знаменитых картинах, живописцах. Но она боялась сказать какую-нибудь нелепость. Ведь она ничего, кроме своего поселка, в жизни не видела. Только вчера бросила играть в «классы» и перестала расчесывать своим куклам волосы.

Однажды, не отрываясь от работы, Андрей спросил:

— Ты помнишь свою маму?

— Плохо, — ответила Ира. — Мне только четыре исполнилось, как ее не стало.

После продолжительной паузы художник сказал:

— Вчера за краской к вам заходил — видел фотографию твоей матери. Красивая была женщина, ты очень на нее похожа.

Девочка смутилась, кровь бросилась в лицо. Ира, опустив голову, начала растирать носком туфли пятно полусохшей краски на полу.

— Какой предмет больше всего любишь? — поинтересовался художник, заметивший смущение девочки.

— Предмет? — переспросила Ира. — Вообще-то люблю смотреть в школьный телескоп. — Заметила улыбку Андрея и догадалась, что лаянула совсем не то. — Предмет географии! — торопливо поправилась. Получилось громко, как пионерский рапорт. Недовольная собой, подумала, что можно было ответить без спешки и с достоинством. Сделалось грустно на душе. От напоминания о матери, без чьей ласки она выросла, от глупого ответа на вопрос, от нескончаемого нудного дождя за окном. Поднялась, тихонько ушла в дальний угол и заплакала по причине какой-то неясной жалости к себе.

Роспись зала подходила к концу. Но у Иры теплилась надежда, что после зала Андрей примется расписывать стены классов. Надеясь услышать подтверждение, спросила про это отца, но тот ответил, что стены в школах не расписываются.

«Кончит зал и уедет», — печально подумала девочка и заспешила в актовый зал. Она

решила набраться смелости и завести с Андреем какой-нибудь разговор. А то уедет и будет думать, что она какая-нибудь бука.

Долго и мучительно думала, о чем спросить.

— Вы учились на художника? — собственный голос показался чужим.

— Да, — ответил художник. — В художественном училище.

— А чему вас там учили? — с досадой упрекнула себя: «Глупо!»

— Рисовать. И еще создавать новые ткани. Не сами ткани, а рисунки. Чтоб ты надела ситцевое платье, и все завидовали, глаз не могли отвести. Костюмы всякие, рубашки, платья...

— У вашей жены, наверное, такие платья, какого ни у кого нет, — щеки Иры запылали.

— У меня нет жены.

— Ну уж, — вырвалось у Иры.

— Да уж, — в тон ей ответил художник.

Девочка не нашла, что сказать. Только вспыхнувшая было радость от состоявшегося разговора начала гаснуть в ней. Но тут вырнулся художник.

— А у тебя есть мальчик? — спросил он.

— Какой мальчик? — удивилась она, хотя догадалась, что художник имел в виду.

— Друг, который записки пишет на уроках, в кино приглашает, заступает за тебя.

— Меня никто не обижает, — уклонилась от прямого ответа Ира. — И вообще у нас девочки в классе дружные, если к кому начнет кто приставать, налетают, как сороки.

— За тебя тоже налетают, как сороки.

— А ко мне никто не пристаёт, — призналась девочка. — Я строгая.

— Строгих не очень любят, — заметил художник.

— И не надо, — сказала Ира. — У нас в классе и мальчишек-то настоящих нет. Все ростом меньше девочек.

— Мальчишки подрастут, — сказал художник.

Разговор с Андреем Ире нравился, и ей хотелось говорить и говорить.

Она рассказывала о своих учителях, как училась ездить верхом на лошади, как много грибов и ягод в их лесах, и о многом другом. Больше все-таки спрашивала, ставя иногда своими вопросами художника в тупик. И не

мудрено: в голове у неё был огромный запас вопросов в диапазоне от последних направлений в моде до черных дыр в космосе.

Время летело быстро, и Ира не заметила, как роспись стен подошла к завершению.

— Сегодня закончу, — сказал художник.

— И все? — спросила она, сама не понимая, о чем и зачем спрашивает.

— Все, — пожал плечами художник.

Это известие ошеломило девочку. Конечно же, художник уедет, но она не думала, что так скоро. Язык будто отнялся, сидела потерянная, теребила краешек платья.

Художник заметил растерянность на ее лице, и ему пришла в голову догадка, что удрученный вид Иры связан каким-то образом с его сообщением об отъезде. Стал припоминать все ее посещения и поймал себя на мысли, что он каждый день ждал ее, и когда она приходила, у него было радостно на душе и хорошо работалось.

Оба молчали. Художник подкрашивал панели, Ира думала свою грустную думу. Никак не могла она смириться с мыслью, что завтра Андрей уедет и она никогда его больше не увидит. Ведь она так и не увидела, какие у него глаза, так и не осмелилась ни разу пристально посмотреть в них.

— Вот, кажется, и все, — вздохнул художник и начал промывать кисточки. Кончив это занятие, усталю опустился на стул, заложил ногу на ногу, скрестив на коленях руки. Некоторое время художник сидел понуро, и когда поднял голову, увидел все ту же печаль и сматение в глазах девочки. Он виновато кашлянул и опустил голову. Ира подумала, что ее дальнейшее присутствие здесь не желательно, что художник устал и ему надо отдохнуть. Она поднялась, неслышно отошла к выходу. В дверях обернулась. И если бы Андрей поднял голову, то увидел, что в ее глазах стынет отчаяние, а лицо серо, словно его посыпали пеплом.

— Я пойду, — проговорила Ира.

Андрей, не поднимая головы, кивнул.

Солнце уже спустилось за горизонт, на улице сгустились сумерки. Отец был дома и

крепко спал. Стояла сенокосная пора, он заготавливал для школьной лошади сено и за день сильно уставал. Не ужиная и не чувствуя себя голодной, Ира, не раздеваясь, только скинула туфли, прилегла на постель. Болезненное состояние, навалившееся на нее еще днем, не покидало ее.

О сне не могло быть и речи, желто-белый свет окон актового зала гипнотически притягивал к себе все ее существо. Ира бессознательно поднялась, обулась и, крадучись, чтобы не разбудить отца, вышла на улицу.

Ночь уже все вокруг окутала темнотой, от земли исходило накопленное за день тепло, в воздухе чувствовался аромат цветущих трав, на которые с вечера выпала обильная роса. Ира по траве напрямую пошла к школе.

И как она медленно ни шла, отдельный вход со двора в актовый зал с неплотно прикрытой дверью приближался с неимоверной быстротой. Еще несколько шагов, она возьмется за холодную скобу двери и откроет ее. Она думает об этом, и у нее от страха подкашиваются ноги. Откроет — и что? Предстанет перед глазами художника растерянной и беспомощной, держащейся на ногах только усилием рук, уцепившихся за дверь. И ничего не скажет. Знает, что не скажет. Будет только страдальчески смотреть на него. Что он подумает?... Нет, нет. ...Ира остановилась, сердце стучало молоточком, щеки пылали.

Девочка пошла назад. Смочила в росной траве руки, приложила к разгоряченному лицу. Присела на скамейку возле волейбольной площадки. «Ну и дура я! — ругала она себя. — Зачем шла? Вот зачем?..»

Ира посидела на скамейке недолго, силы к ней вернулись, и ей захотелось двигаться. Поднялась и, не приближаясь к освещенным окнам актового зала, но и не спуская с них глаз, размахивая руками и хлопая ими перед собой, она исходила школьный двор вдоль и поперек.

Оказавшись возле дома, девочка села на крыльцо и стала смотреть в бездонную глубину звездного неба. Как оно холодно и равнодушно ко всему на свете — это звездное небо... Умри она, умри все люди, разломись земля напополам — ему будет все равно. Так

же безучастно будут мигать звезды. И кто это сказал, что они мигают приветливо... Пришла отвлеченная мысль, что у Вселенной нет ни начала, ни конца. Попыталась представить, как это может быть. Не смогла. «С ума можно сойти», — вздохнула и опустилась с неба на землю. Свет в окнах актового зала не горел. Она прозевала, когда он погас. Погас, и вот кажется, что не стало на земле жизни. Тьма и тишь, одна она со своими ни с кем не разделенными думами, счастьем и горем. Становилось прохладно, но девочке не хотелось пошевелить даже плечами, чтобы прогнать озноб. Боялась стряхнуть с себя наваждение этой ночи: новое — не то сон, не то явь — полубредовое состояние, в котором все-таки было приятно пребывать.

Незаметно наступил рассвет. Звезды уже исчезли, только две или три из них еще удерживались на небе, здание школы выявилось во всей своей громадине, и все вокруг школы и дальше нее стало проступать из мглы. Несколькими минутами позже на самом краю посветлевшего горизонта Ира увидела тонкий, как вязальная спица, белый след в небе, а в начале его — крошечный крестик самолета, уже освещенного там, высоко, лучами восходящего солнца.

Вспомнилась нарисованная художником на стене в актовом зале серебристая космическая ракета. Вот улететь бы, подумала она о себе и художнике, к дальним звездам. У них бы родились дети, и она вместо сказок рассказывала бы им, как прекрасна на рассвете земля... Или уехать на поезде в какую-нибудь неизведанную даль. Или уплыть на пароходе на таинственный остров. Или еще куда. Лишь бы вдвоем...

Она мечтала, а в голову сами приходили стихи. В них были слова «ракета», «нисколько не жаль», «слияние рассвета», «жемчужная даль». Стихи складывались быстро, с каждой новой строчкой предыдущая тут же забывалась, и она не пыталась ее вспомнить.

Когда солнце наполовину выглянуло из-за горизонта и коснулось нежным лучом ее лица, Ира почувствовала усталость. Она поднялась, пошла в избу и легла спать с намерением вскоре проснуться, чтобы успеть еще раз уви-

деть художника перед отъездом. Но перенадеялась на себя и проспала все утро. Пробудилась от жарких лучей: через незасторенное окно солнце сильно припекало голову — на дворе стоял день.

Ира быстро оделась и побежала в актальный зал. Он был пуст. Постель на койке художника лежала, скатанная в рулон; стремянка, кусок пестрой ветоши, пустые банки из-под краски были прибраны в угол.

Она обвела взглядом ярко расписанные стены, но роспись ее не интересовала. Того, кого хотела больше всего на свете сейчас увидеть, в зале не было, и ничто не говорило о том, что он придет сюда.

Почувствовав, что стало горячо глазам, Ира сомкнула веки, ресницы, смочившись капелками крупных слезинок, слиплись, а когда их вновь распахнула и зрение прояснилось, она увидела у стены, прямо перед собой, портрет. Вгляделась в него и узнала себя. «Неужели?» Подбежала к стене, бережно взяла портрет. Был он написан на толстом картоне, краска кое-где была еще невысохшей и липла к рукам. «Это я! Я! — ликовала девочка. — Моя прическа, мое платье в горошек... Да я вся тут, вся!» Она закружилась по залу, держа перед собой портрет. Затем поставила его на окно, отошла к противоположной стене. Сделала несколько шагов вправо, потом влево.

*с. Колыон
Ижморского района*

Портрет был как живой, следил глазами за ее движениями.

Ира уселась на стул, и, глядя на свое изображение, задумалась.

Откуда-то издалека шла к ней мысль, неясная еще, путаная, но желанная. Она сосредоточенно ждала ее, внутренне прислушивалась к ней, и вдруг эта мысль сделалась четкой и ясной. «Он думал обо мне!» — вот какая была эта мысль. «Думал!!! — хотелось ей крикнуть на весь зал, на весь мир. — Когда рисовал, он думал обо мне!.. А может, думал и когда не рисовал...» Открытие было настолько счастливым, что она подхватила и опять закружилась по залу...

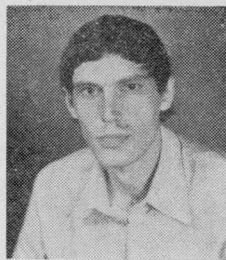
Вечером Ира села писать письмо своему художнику. С трепетной уверенностью вывела:

«Здравствуйте, Андрей...»

Что писать дальше, не знала. Подперев голову ладонью, девочка представила лицо художника. Оно улыбалось ей. И она тоже улыбнулась в ответ. И без страха взглянула ему в глаза! И увидела!.. Она увидела, какие они: чистые! Какие были всегда. Всякий раз разные, но непременно — чистые. Перо само потянулось к бумаге.

«Я смотрю в ваши чистые глаза...»

Девочка писала и верила, что он прочтет ее слова. Рано или поздно. Это случится...



* * *

Счастливого утро!
Листва опускает глаза,
а я ничего не вижу
глазами, открытыми лесу.

Лишь перелетают птицы
с руки на руку —
с твоей руки на мою —
легкие птицы.

А туманная Томь,
изгибаясь, уходит в заросли ив,
и ясная мысль соскальзывает
с ее пальцев.

Я напрягаюсь до шевеления губ,
чтобы успеть прочитать
записку ветра
на мокрой траве.

* * *

И тонкие эти ростки,
и длинная, сизая шея.
А дальше не видно ни зги,
и все хорошеет, темнея.

Лишь только озерная тишь,
ранимая ветром движенья,
баюкает сонный камыш,
пахучую рябь отраженья.

Давайте полюбим опять
давнишние наши загадки,
зеленое время рыдать
посадим на утренней грядке.

Покуда, темнея, черты
оно обретет роковые,
мы будем с пространством на ты
беседовать, словно впервые.

В древесном тумане сквозном,
как певчие птицы порхая,
кто знает, о чем мы поем,
сознания тростинка-сухая?

* * *

Задумавшись случайно, вдруг
среди усталых разговоров
я ощущаю тяжесть рук
и жажду бешеных просторов.
Я помню розовый курган,
и темное лицо Батия,
и льнущие к его ногам
дороги пыльно-золотые.
Я помню грубого седла
метафизическую чашу.
Мы расплескали ярость нашу,
и нам осталась только мгла.
Умолкла выбитая степь,
зачахли топтанные травы,
и мы, напившиеся славы,
домой вернулись умереть.
А там, где степь кочует вдаль,
где свет в зрачках орлиных меркнет,
цветет простая, как бессмертник,
неутолимая печаль.



Юрий Котляров

ПАДЕНИЕ

Документальное повествование

Июньской ночью 1921 года в одиноком сарае близ села Святославка Мариинского уезда Томской губернии прозвучали три глухих винтовочных выстрела. Они завершили трудную, полную риска чекистскую операцию. Они поставили последнюю точку в путаной жизни Петра Кузьмича Лубкова, 38 лет от роду, бывшего Георгиевского кавалера, бывшего лихого партизанского командира — грозы колчаковских карателей, поднявшего затем руку на Советскую власть и обратившегося в конце концов в бандита.

Но эхо этих выстрелов, к сожалению, еще долго мутными волнами ходило по округе. Досужие языки плели вокруг истории трех выстрелов паутину «легенды». Кому-то она была, очевидно, на руку, кто-то по незнанию истины верил слухам...

И до наших дней, как ни странно, доносятся порой отголоски этих слухов. После публикации в газете «Комсомолец Кузбасса» (август 1972 года) первоначального варианта документальной повести «Падение» автор получил несколько писем от людей, которые в двадцатые годы так или иначе были причастны к заботам бывшего Мариинского уезда. В одном из них ставится под сомнение сама необходимость ликвидации ставшего бандитом Петра Лубкова, поскольку-де «был в изоляции, в одиночестве», просто «скрывался от ответственности» и, следовательно, не был социально опасен и не мог готовить нового выступления против Советской власти.

В другом письме член партии с 1920 года П. Д. Алехин прямо заявляет: «Первышев Сергей убил не Лубкова П. К., а другого человека, ни в чем не виновного... Лубков же после разгрома его выступления против рабоче-крестьянской власти скрылся на Восток. Чекист же Первышев и его коллеги просто ввели в заблуждение общественность».

Да что там подобные утверждения, основанные на слухах (кстати, авторы выше-названных писем во время ликвидации лубковского мятежа сами в Мариинском уезде не были), если и в некоторых исторических работах мы встречаем непрости-тельные неточности, небрежности в определении личности Лубкова и существенных фактов его биографии. Например, В. А. Кадейкин в обстоятельном исследовании «Сибирь непокоренная» [Кемерово, 1968 г.] на странице 543 замечает: «Петр Кузьмич Лубков — крестьянин села Святославка Мариинского уезда. Недовольный поборами колчаковцев, сформировал партизанский отряд, но под влиянием эсеров-анархистских элементов скатился к бандитизму. В 1920 г. поднял антисоветский мятеж и был убит».

Авторы книги «Боевые годы» [Новосибирск, 1959 г.] на странице 184 «уточня-ют»:

«...В 1920 г. Лубков поддался влиянию кулаков, поднял антисоветский мятеж в Мариинском уезде и во время подавления мятежа был убит».

А в сборнике «Пятая научная конференция Томского государственного универ-ситета» [Томск, 1957 г., страница 93] утверждается следующее: «П. К. Лубков в 1920 г. стал агентом кулаков, командовал кулацкой бандой, поднявшей в Мариинском

уезде антисоветский мятеж. В 1921 г. П. Лубков расстрелян по решению ревтрибунала».

Итак, Лубков — «агент кулаков» или «поддавшийся их влиянию», или попавший «под влияние эсэро-анархистских элементов»? Он убит или расстрелян по решению ревтрибунала? И когда: в 1920 или в 1921 годах? А может, как пишет П. Д. Алехин, убит был его «двойник», а сам Лубков «скрылся на Восток» и потом, много лет спустя, как пытались убеждать легковых «безымянные» слухи, даже передавал письменные весточки родственникам!

К счастью, сохранились документы, объективный анализ которых позволяет сделать правильные выводы о роли партизанского отряда Петра Лубкова (и самого организатора и командира его) в борьбе с колчаковщиной и об антисоветском мятеже, который поднял бывший партизанский вожак. Эти документы приводятся, между прочим, и в упомянутых выше книгах, и в сборнике «Борьба за власть Советов в Томской губернии» [Томск, 1957 г.], и в ряде других изданий.

Наконец несколько лет назад в одном из архивов Кемерово нам довелось познакомиться с очень важными первоисточниками: подробным докладом заведующего Мариинским политбюро ЧК председателю Томской губернской чрезвычайной комиссии о проведении операции по обнаружению и ликвидации П. Лубкова, дневниковыми записями и другими личными бумагами последнего, протоколами опознания, судебно-медицинского осмотра и фотографиями его трупа. Эти документы кладут конец всяким слухам и домыслам и дают право утверждать: истинно мужественной была чекистская операция по окончательной ликвидации Петра Лубкова и его сообщников. О ней, а также о политическом и моральном падении бывшего партизанского командира, которое привело его к бесславному концу, и пытается рассказать автор в этом небольшом документальном повествовании. Он искренне благодарен за помощь ветерану партии, бывшему чекисту С. П. Первышеву, а также В. И. Алешину, М. М. Смирнову, заведующему Томским областным партийным архивом М. И. Чугунову, старому коммунисту Т. В. Медведеву и другим товарищам.

I

Заведующий политбюро ЧК Мариинского уезда Зыбко без особой радости смотрел в окно на пляску озорных ручьев вдоль улицы, на еще голые, но уже набухшие почками ветви деревьев, облитые мягким, парным апрельским солнцем. До Первомая—всего неделя какая-нибудь. До второго Первомая после того, как вышвырнули за сибирскую околицу и колчаковскую нагайку, и сапог английский, и погон французский... Какая сила была, а, поди ж, одолели!

И вот, на тебе: со своим, «доморощенным» Петром Лубковым какой уж-месяц справиться не могут.

Зыбко, в недавнем прошлом балтийского матроса, партия послала на борьбу с Колчаком, а теперь по ее мандату он стал чекистом. В начале марта двадцать первого года его вызвал председатель Томской губчека:

— Поедешь в Мариинск. Твой предшественник, Соколов, не смог перехитрить Лубкова. А он у нас — как нож под лопатками. И

притом втемную: ничего мы о нем толком не знаем. Твоя задача — обнаружить, где он скрывается, что затевает, и обезвредить этого новоявленного бандитского «Христа». Любыми путями!..

Обезвредить... На многие сотни верст окрест плотно осел легендарный туман вокруг имени Петра Лубкова, храброго, сметливого, с необузданным нравом командира одного из самых крупных и самых первых в Томской губернии партизанского отряда, лютого врага колчаковцев. В Малопесчанке, например, крестьяне и сейчас с этаким пугливым благоговением рассказывают, как в девятнадцатом, перед рождеством, ворвался Лубков со своим отрядом в село, захватил растерявшихся белогвардейских милиционеров, собрал на площади сход и стал вершить свой суд праведный. При всех допрашивал с пристрастием бледно-серого, как мартовский снег, председателя земской управы, выплатил ли тот положенные деньги солдаткам. Ах, нет? Меньяй тут же крупные пайковые купюры у зажиточных мужиков и рассчитывайся. И сол-

датские шинели, что понаграбили милиционеры по деревням, по приказу управляющего уездом, раздать обратно немедленно.

А потом объявил всем, чтобы никаких налогов Колчаку не платили, правительству его самозванному не подчинялись, а помогали бы партизанам, защитникам крестьянским, истинным борцам за свободу. И ежели кто желает вступить в отряд, пусть тут же записывается и получает обмундирование и оружие. А богатые хозяева, кулаки по-простому, в казну отряда деньги — на бочку!

Кое-кто из прижимистых толстосумов пытался было отговориться скудостью, так лубковские ребята вмиг обыск сделали по их дворам. Нашли! А у кого и не обнаружилось назначенной суммы, командир приказал строго-настрого через неделю в определенное место доставить и расстрелом пригрозил:

— Учтите, «убогие»: у меня суд да расправа скорые. Везде достану слушников!

Но общественных денег не тронул. Коней — кулацких — насовсем забрал, а тех, что у остальных позаимствовал, вернул, как и обещал. Милиционеров же, уходя, за околицей в расход пустил.

А в Белгородке, крестьясь, шепчут, как Лубков, переодевшись колчаковским офицером, явился вечером к попу. Выпили, разговорились. Поп и давай просить «господина офицера» поскорее покончить со «смутьянами». И сам-де он охотно этому поможет. Достал список родственников партизан и парней-новобранцев, которые скрывались от белогвардейской службы.

Лубкову только это и надо было: заранее слышал об усердном не в меру боговом слуге. Доставил его в отряд, который расположился в Георгиевке, и казнил тут же...

Потом, годы спустя, историки найдут в архивах донесение управляющего Мариинским уездом Осинского своему колчаковскому начальству в Томске о той горячей партизанской зиме:

«Лубков, быстро передвигаясь из одного села в другое в районе Малопесчанской и Колыонской волостей, неожиданно появлялся в них, имея человек 70 отлично вооруженных лиц...

Правительственные вооруженные отряды, начав свои боевые действия против Лубкова 29 декабря, в течение нескольких дней не могли встретиться с ним, и только лишь 4 января было получено донесение, что отряд капитана Орлова, подъезжая к Малопесчанке, был встречен ураганным ружейным огнем отряда Лубкова... В отряде Орлова произошло замешательство, первая лошадь с пулеметом, испуганная выстрелом, бросилась прямо к противнику... Остальная часть отряда под прикрытием пулеметного огня рассыпалась в цепь, открыла ружейную стрельбу, но ввиду превосходства огня противника принуждена была отступить на Колыон...

13 января получено донесение от капитана Нестерова, что, не доезжая с. Покровского, он из села был встречен ружейным огнем отряда Лубкова... Движение в лоб противнику сопровождалось большими потерями... Преследовать и окончательно ликвидировать Лубкова Нестеров не мог вследствие отсутствия патронов, переутомления и обморожения людей...».

Вот как воевал Лубков-то вместе со своими лихими партизанами...

Заведующий политбюро ЧК Зыбко понимал, в какой сложной ситуации приходилось ему действовать. Начинаешь иным спорщикам возражать, доказывать, что потом, при Советской власти, за которую сам же боролся, Лубков вместо помощи ей поднял против нее мятеж, — сколько деревенских коммунистов зверски уничтожил, да и ни в чем не повинных людей тоже, — они вздыхают сокрушенно, растерянно бормочут что-то вроде того, что, мол, «бес, видно, Кузьмича попутал». А в ответ на просьбу указать, где сейчас Лубков скрывается, отчаянно головами мотают:

— Кто ж его знает. Нам ничего не известно...

Хотя ясно ведь: знают, слышали, а то и видели. Но — боятся проболтаться: Лубков никого жалеть не будет, всем ведомо...

И недавние лубковские партизаны, а теперь советские милиционеры и чоновцы, тоже тушуются. Не так-то легко это: ведь вместе на карателей ходили, отбивались от них

в смертных схватках, вместе и раны залечивали, и голодали, и мерзли в заваленной сугробами таежной глухомани. Верили своему вожаку. И потому, не очень-то одобряя, прощали и пьянки, и своевольные атаманские замашки, и неразборчивую порой жестокость его.

Когда после освобождения родной земли от Колчака начал бунтовать Лубков, ссориться с Советской властью, сожалели об этом, за ним не пошли. Понимали: не на ту дорогу правит.

И мятеж его многие бывшие лубковцы осудили, объявили безрассудством, в составе частей особого назначения ходили на штурм позиций бунтовщиков, среди которых встречались и их соратники по прежним партизанским рейдам.

Но одно дело — осуждать или драться в открытом бою и совсем другое — «обезвредить». Значит — один на один с запутавшимся, озлобленным до беспощадности, но — своим бывшим командиром...

Так думали многие вчерашние храбрые, преданные Советской власти партизаны.

II

Весь март у чекистов прошел в безуспешных попытках нащупать хоть слабенькую паутинку, которая бы тянулась к Лубкову. Наконец, кое-кто проговорился: хоронится-де он в деревне Тонгулы и частенько приезжает в Корики, под самым Мариинском!

В начале апреля стало известно: Лубков — в Кориках, отдыхает. Немедленно послали отряд милиции. Он окружил деревню, прочесал все избы, амбары, погреба. Лубков как растворился! А ведь более смелые из крестьян утверждали: только что здесь был, сами видели!

Ни с чем вернулись милиционеры. И тогда даже некоторые работники политбюро ЧК засомневались: а действительно ли Лубков скрывается в уезде? Может он давно подался в другие края, здесь же его подручные просто дым в глаза пускают?

Проверить решили так: через сочувствующих ему крестьян передали, что Советская власть в лице товарища Зыбко готова выдать

Лубкову документы на право проезда в Монголию и полную гарантию, что его не тронут.

Лубков ответил:

— На такую удочку не пойду. Ишь ты, ворона хочет поймать сокола! Скоро по-иному встретимся...

Сомневаться уже не приходилось: Лубков петляет совсем рядом, под носом у ЧК. И, конечно, не зря. Но что он задумал, какие силки расставляет?

Не за один вечер продымили насквозь самосадом кабинет заведующего политбюро. Какие только предложения не выдвигались! У Зыбко, его помощников, начальника уездной милиции Калинина, командира летучего отряда Кисловского фантазии хватало. Но, пожалуй, не будь ее — не родился бы этот, окончательный, принятый в конце концов всеми вариант операции. Рискованный, верно. А что иначе делать? Во многом зависел он от исполнителей. Их-то подбирали очень тщательно. Самых надежных и сообразительных. Причем, в основном, из бывших лубковских партизан — в этом свой расчет, и немало-важный, был.

Итак, создаются три группы по два-три человека в каждой. Одна о другой правды не знают. А точнее так. Второй — намек дается, что те двое, из первой группы, к Лубкову решили переметнуться, в пособники к нему податься. Всерьез.

Третья о первой и второй примерно то же думает. И пусть в открытую о своих подозрениях говорит. А главная задача каждой — попытаться войти в контакты с Лубковым, раскрыть его явки, намерения, узнать ближайших помощников. Обо всем сообщать. Дальше действовать по приказу политбюро. В крайнем случае, сообразуясь с обстановкой, уничтожить атамана самостоятельно — если другого выхода не будет.

Самое трудное, рискованное положение, конечно, у первой группы. Но на нее и главная надежда. Потому так и тревожится Зыбко, глядя на прогретое апрельское солнцем окно.

Наконец глухо взвизгнула резко открывшаяся дверь. В кабинет вошел высокий бело-

брысы парень в полувоенной куртке, швы которой, казалось вот-вот лопнут под напором крепких плеч. За ним шагнул коренастый, немного неуклюжий, со строгими глазами и ершистой челкой его товарищ. Сергей Первышев и Матвей Пашков. Их-то и ждал Зыбко.

— Садитесь, корешки, потолкуем...

III

В Святославке односельчане встретили возвращение из города Сергея и Матвея без особых восторгов. Лубопытствовали:

— Насовсем аль на побывку?

Знали: то ли в милиции, то ли в чоне парни служили. А Сергей, кажись, надзирателем в Мариинской тюрьме состоял. О том, что они чекисты, никто даже и в мыслях не имел. А молчать друзья умели. Отвечали немногословно, с намеком:

— Хватит, навоевались, наслужились. Пахать пора...

И в самом деле, к радости родителей, от зари до зари потели они на пашне, во дворах порядок наводили. По всему видно, ладони их давно по крестьянской работе чесались.

Только вот у них знакомства странные завелись. С активистами-коммунистами — «здоров был» да «бывай здоров». Зато с Жуковым, по прозвищу Жучок, с Ванько Русских, которого все знали также как Ушакова, Мотя Пашков не раз встречался, даже самогонку хлестал вместе.

Меж тем, кто ж не знал, что хоть и освободили этих прохиндеев после мятежа по амнистии, в октябре двадцатого, все равно они остались верными Лубкову. Вполшепота передавали, что Жучок и Ванька таких же, как сами, высматривают по волости, шушукаются с ними да Кузьмича новейшими вестями и съестным снабжают.

А Сергей едва сам в поле первый раз выехал, как вечером пришел к жене Лубкова Марье Ивановне — через семь дворов всего жили-то:

— Послушай, Ивановна, у вас одна лошадь, и у нас тоже. Давай я тебе помогу.

— Да что ты, Сергей, мы как-нибудь с сыном управимся.

— Не гордись, от души я. Что вы с Митькой вдвоем сделаете?

А старикам самим дай бог управиться.

Сергей понимал нерешительность женщины — что-то скажет Лубков? И так он с дружкой, с Олькой спутался. В то же время видел Сергей, как хочется Марье Ивановне, чтобы помог он. Потому что знал и другое — больше некому: хоть отец ее, Иван Петрович Сьедин, и справный мужик (как-никак, три лошади, корова, овцы — все есть), но со своим зятем в больших неладах, особенно последний год. Клянет и так и эдак.

Весна победила.

Ивановна в благодарность сшила Сергею объемистую парусиновую сумку — взамен лукошка, чтоб зерно сподручней разбрасывать было. А Первышев, попевая на два поля, исподволь приглядывался к Дмитрию, четырнадцатилетнему сыну Лубкова, еще не окрепшему, но многое взявшему у отца — и статью, и характер — упрямый, хмурый. Отец брал его с собой в удачные партизанские рейды. Побывал он и в руках колчаковских карателей, когда те врасплох захватили отряд в ночь с 24 на 25 июня девятнадцатого года в тайге, недалеко от дороги.

...Везучим выдался тот июнь. В ночь на пятнадцатое отряд, в котором было уже около трехсот бойцов, неожиданно атаковал колчаковских милиционеров в Красном Яре. Те отчаянно отстреливались. Но четвертой атаки не выдержали — побежали в сторону Берикульской. А меж тем, каратели капитана Сурова, потеряв след партизан, выдохшиеся, стояли ночлегом в Малопесчанке и не знали о красноярской схватке.

Потом лубковцы вместе с присоединившимися отрядами Гончарова и Сергеева-Крылова, в которых костяк составляли анжерские и судженские шахтеры, с ходу взяли село Почитанское. Здесь разделились на две группы и одновременно ударили по станции Ижморская, по мосту через Яю, который охранял чешский караул, и открыли беглый огонь по разъезду Яя.

Славный был бой! Налет на Ижморскую оказался таким внезапным, что и чехи, и воинство из комиссии по набору (а попросту — грабежу) крестьянских лошадей для колчаковской армии бежали в разные стороны, беспорядочно отстреливаясь. А кто пытался сопротивляться, прячась за стенами станционных построек, того забросали гранатами.

Горела Ижморка, разобран путь у моста через Яю. Шестьдесят лошадей отбито у грабкомиссии.

Партизаны возбуждены. Партизаны готовы праздновать победу. Но разведчики уже доносят: из Мариинска спешит чешский бронепоезд, от Судженки — чешская батарея, да каратели Сурова, очухавшись и отдышавшись в Малопесчанке, на рысях двинулись через Беркульскую наперерез партизанам.

Лубков приказал без остановок возвращаться на Почитанку и Теплореченскую и далее — на базы в район Малопесчанки.

Почти сутки шла эта бешеная скачка. Но где там карателям поспеть за отрядом, который был в своей родной стихии!

Наступила ночь 24 июня. Дорога втянулась в тайгу. Остановились. Тяжело дышали и люди, и кони. Подскакал арьергардный разведчик:

— Нету суровцев!

— Пора и отдохнуть, — приказал Лубков.

— Верно, — тут же вставил его помощник Иван Анпилов, мужик верткий, с колючими, как у хоряка, глазами. — Тут поляна недалеко. Скрытая. И победу отпразднуем, — хохотнул, показывая на телеги, где лежали трофеи, продукты, самогон.

— Охранение надо вокруг выставить, дозорных к дороге послать, — предложил Гончаров.

— Ни к чему, — упрямо отрезал Петр. — Суров давно и след-то наш потерял. А бойцам всем отдых нужен. Обойдемся часовыми.

На большой таежной поляне быстро затрещали веселые костры. И пир начался. Смех, песни под гармонь, свежие воспоминания... Лубков баловался с Катей-партизанкой, как ее все звали, — отчаянной симпатич-

ной девкой, своей отрядной любовью, готовой за него послать на тот свет и бога, и черта, — Екатериной Чириковой.

По другую сторону костра сладко посапывал вконец уморившийся двенадцатилетний Митька. Невдалеке сторожко спали анжерцы и судженцы из отрядов Гончарова и Сергеева.

Забрезжил ранний невыспавшийся рассвет. И только в его неверной серости заметил вдруг подвыпивший часовой тупое рыло вражеского пулемета в дальних кустах.

— Каратели!

Встреппенул партизанский улей. Да поздно было. С трех сторон сыпались на них пули. Неистово ржали перепуганные лошади.

Кое-как организовали оборону. Но всем ясно было: неравны силы, неравны позиции. Замирали навек один за другим партизаны. Схватился за простреленную грудь Лубков. К нему, пригибаясь, подбежали соратники. Он задыхался, но успел крикнуть им:

— По логу, по логу отходить! И не кучей, а врассыпную, группами. Встреча — на базе...

Уже у кустов, когда его оттащили туда партизаны, увидел Петр, как каратели схватили несколько его бойцов и сыночка родного с ними...

У Михайловского снова приняли бой партизаны. В нем пал под пулями колчаковцев рабочий командир Гончаров. Еще раз — в руку — был ранен Лубков. Но опять ушли партизаны из ловушки, чтобы, отдышавшись, не давать покоя врагу.

И уже 20 июля управляющий Томской губернией будет докладывать колчаковскому министру внутренних дел:

«По всей территории Мариинского уезда продолжается гражданская война, почти ежедневно появляются в разных местах уезда шайки бандитов, именующие себя «партизанскими революционными отрядами», или просто «отрядами красноармейцев», под командой Лубкова, Зубова, Гончарова и других... Бандиты, разбившись на небольшие отряды, благодаря летнему времени и индифферентному отношению населения, становятся неуловимыми...».

Неспроста, конечно, так нервничал господин управляющий. Число народных мстителей в самом деле росло, как снежный ком. И крестьяне действительно помогали им, убивали их. А чтобы сбить с толку карателей, партизаны различных отрядов называли себя бойцами Лубкова. Хотя Лубков не мог уже сам участвовать в операциях. И колчаковцы сплошь и рядом не могли понять, с кем же, с каким отрядом воюют?

...Митя вернулся домой под Новый* год — освободила его стремительно гнавшая колчаковцев Пятая Красная Армия. Исхудал, повзрослел, замкнулся как-то, дичился посторонних. Но уразумел ли детским своим еще соображением, кто истинно повинен в его пленении? Осудил или оправдал родителя после мятежа? На чьей стороне он, партизанский сын, сегодня?

...Однажды, когда засеяли последнюю делянку, распрягая вечером лошадей, Первышев участливо спросил Митю:

— Тоскуешь по отцу-то?

Тот посмотрел исподлобья и вдруг ответил с вызовом:

— Ничего, батя еще покажет...

— Не поймали бы.

— Кого? Батю? Кишка тонка!

«Ого! — изумился Первышев. — С чьего языка это?» А сам поспешил подтвердить:

— Вот и я говорю. Эх, встретиться бы с ним, поговорить...

Дмитрий хмыкнул, но промолчал. Больше Сергей не вступал в расспросы, чтобы лишних подозрений не вызывать. Но при удобном случае не забывал высказать полное сочувствие своему бывшему командиру.

IV

Вскоре вернулись в Святославку Василий Шарапов, Прокофий Бутович, Лука Комаровский, а потом Крутицкий, Елистрат Горелкин, Кирликов.

— Видать, и этих к земле потянуло, к хлебушку, — одобритительно кивали в их сторону святославцы.

Странные взаимоотношения сложились у Первышева и Пашкова с Шараповым и Буто-

вичем. Вместе росли, вместе воевали, вместе в Мариинске служили. А тут — словно черная кошка меж ними пробежала. С одной стороны, избегают бывших приятелей, нашептывают друг на друга из-за угла: мол, пособники те лубковские. А с другой (в селе слуха не утаишь!) — сами ищут связей с Кузьмичом, жратву ему через того же Жучка переправляют. В хамелеонов каких-то обратились.

Запросили Сергей и Мотя инструкции у Зыбко: как себя вести? Тот передал: не обращайте внимания на Шарапова и прочих, продолжайте действовать, как условились.

Зато Жучок, встретив Матвея, подбодрил: — Дядя Ваня (такой теперь была кличка Лубкова) просил передать спасибо тебе и Сереже Первышеву. За вашу верность ему.

— Ясно. А что дальше делать-то? Хотя бы с самим с ним потолковать. А то так: верит нам, а встречается с Васькой Шараповым. Думаешь, не знаем об этом?

— Не торопи время. Всему свой черед.

А дня через два под вечер Жучок шепнул:

— Сегодня, как стемнеет, пойдешь со мной. Лубков поговорить хочет.

В темноте встретились у кладбища и двинулись к лесу. Только окунулись в березняк, Жучок остановился и крикнул трижды кукушкой. Невдалеке отзывались так же.

Прошли еще немного и, раздвинув кусты, сползли в заросшую травой довольно глубокую, но сверху малоприметную яму. «Конспирация хоть куда», — отметил Матвей.

И тут же в логовище спустился Лубков с двумя мужиками.

— Ну, здорово, Мотя. Верил я: хоть и служишь у большевиков, а старой дружбы не забыл.

— Да чего там. Ты лучше ответь, долги вот так, в бездействии, сочувствующими тебе сидеть на печи будем?

Лубков усмехнулся, довольный:

— Вот она, партизанская душа беспокойная! Так слушай: сейчас пока будем вести одиночные, разрозненные действия. Как в восемнадцатом осенью, в начале борьбы с Колчаком. Где поджог, где диверсия на железной

Дороге. Большевикам нервы портить да свои зубы точить. А через месяц-другой, когда все тринадцать моих новых рот готовы будут, ударим всерьез. Покрепче да поумнее, чем в прошлом году. Из Советов большевиков и их прихлебателей повыкируем. Свою власть, истинно мужицкую, установим. Все за мной пойдут.

Лубков все больше увлекался тем, что говорил. И странно перемешивались в его речи упрямая злоба и призрачная фантазия. Неужели не сознавал он, что у крестьянина, за редким исключением, только страх перед ним остался, что прошли его, лубковские времена, что не тот ветер сейчас дует?

А может, и в самом деле по таежным деревням да схионам у него достаточно еще «верных людей», которые немало бед по его приказу наделают?

У Моти от всех этих мыслей подмышки враз запотели...

— Все с нами будут,—повторял меж тем Лубков.—Вот и в Евангелии сказано...

— Слышь, Кузьмич,—прервал его Матвей.—Я во всем с тобой согласен. Только в толк не возьму: отчего ты к богу подался? Ведь раньше не очень-то, помнится, и ему, и по-пам доверял.

— Дурак! Вникни: крестьянин без бога никуда. И в то же время в Советскую власть успел поверить. А большевики—против бога. Значит, что мне надо делать? Молиться! Евангелие, другие святыя книги читать! Запомни: я иду не против Советов, а только против коммунистов. Они в бога не верят. И крестьянин меня понимает. И эсеры поддерживают. Ну, а в таком деле, какое я задумал, и попы—помощники. И мои агитаторы молитвы читают—заставил. Я вот тоже всегда при себе святую книжицу имею.

Он достал из кармана потрепанную дешевенькую брошюрку, отиснутую еще в 1900 году в московской типолитографии И. Ефимова: «Воскресения день!.. Издание Афонского русского Пантелеймонова монастыря».

— Евангелие—оно толстое, а эта—куда как удобна...

— А не перегибашь?—опять недоверчиво вставил Матвей.—Вон, говорят, Васька Горе-

вой из Островка совсем было в «святыя» записался, даже руки крестиками изрезал. И—свихнулся.

Лубков недовольно кашлянул:

— Это верно. Болван. Скоро же зачитался талмудов церковных...

Он хотел сказать еще что-то. Но рядом в траве вроде камня упало. Все мигом пригнулись—узнали самодельную партизанскую бомбу. Однако она не взорвалась. И следом полыхнули винтовочные выстрелы.

Лубков, словно рысь, метнулся из ямы в кусты. Следом шмыгнули остальные. Матвей тоже ухватился за ветку на краю логова и вскрикнул: словно струя крутого кипятка обожгла руку.

А сверху уже навалились двое. С удивлением узнал Матвей Василия Шарапова и Мискевича, председателя сельсовета.

«Сволочи! Недоноски!—горькая обида охватила разведчика.—Все сорвали! Эх...»

V

Лубков лежал в надежно укрытой таежным буреломом маленькой приземистой избушке. Нервное возбуждение от неожиданного нападения, от ночного бега по чащобе спадало. Чистый безмятежный рассвет влиялся в окошко и полураскрытые двери.

Вследили... Пашкова с простреленной рукой схватили. Ну, тот неопытный в конспирации. А Жучок-то, Жучок сплеховал! Иначе как же эти язычники смогли подобраться незаметно? Кто они—из Мариинска или свои, святославцы? Ух, как он их ненавидел! Они заставляли быть все время настороже, вечно готовым то ли прятаться, то ли бежать. Они не унимались в своих попытках схватить его хотя бы за пятки.

Да, он, Лубков, хитрее милиционеров. Он—неуловим. У него столько укромных местечек везде, что им ни за что не застать его врасплох так, чтобы капкан защелкнулся на мертво. Но он уже начал уставать от бесконечно смертельной игры в «кошки-мышки». Нервы порой сдавали. По росным утрам все чаще ныла правая усохшая нога—память о немецкой шрапнели, тупая боль отдавалась

в пробитых груди и руке — глубоки колчаковские зарубки.

Но ничего, скоро, совсем скоро поднимется его новая рать. И не будет пощады его врагам — в уезде знают, как умеет он жестоко мстить. Силы копят, силы ширятся. Недаром он всю зиму петлял по уезду. И Жучок, и Русских доносят о том же. Почти в каждом селе есть лубковские «тройки», которые по сигналу готовы в назначенный день двинуться в указанном направлении. А за ними поднимутся и другие крестьяне. И во главе их — он, всеми признанный заступник мужицкий.

Петр достал из кармана потертую записную книжку в черном дерматиновом переплете — свою неразлучную спутницу в последний год. Но даже наедине с ней не очень-то словоохотлив он был. Два-три слова, чтобы напомнили то, что в голове должно держать. Перелистал странички с пометками, где бывал — скрывался после поражения под Тавлой и Михайловской от чоновцев и красноармейцев, какая в какой день погода стояла. А в самом начале — фамилии верных людей: в Островке — Егор Попов, Григорий Балмаев, Павел Новосельченко, покойный Василий Горевой. В Святославке — Михаил Козлов, Прокофий Бутович, Шарапов Василий... И все же проверить их надо, особенно святославских: слухов много, разное болтают.

Отдельно на листке — фамилии будущих командиров его новых тринадцати рот: первой — Абузаров, Теплая речка, второй — Артюхов, Святославка... пятой — Трофимов, Малопесчанка, шестой — Котов, Островка... Над списком Лубков аккуратно вывел: «Порядок и названия по порядку рот».

Оживают в дневниковых листках совсем недавние события. В январе восемнадцать дней прожил Петр дома. Отдохнул, в бане всласть попарился. Но двадцать третьего приехали милиционеры — пришлось тайком уходить в эту вот спасительную избушку.

Петр хмурится, перечитывая свои короткие заметки:

«30 апреля. Милиционеры пришли вести обыск.

14 мая. С обеда приехали милиционеры искать меня.

19 мая. Среда. Родился сыночек...».

Не мог Лубков в те дни быть дома. Жучок сообщил о сыне. Горькая, тревожная была эта радость. Передал, чтоб назвали Мишей, Михаилом. В воскресенье, 23 мая, легла в дневник еще одна запись: «Крестины Миши...».

Потом, восьмого июня, тоже в воскресенье, на троицу, когда рожь даст колос, принесут ему в поскотину, опять же тайком, маленький, крикливый, горячий запеленатый комочек. И увидит он его в первый и последний раз... Но это будет потом.

Петр вздохнул глубоко, с хрипом, и огрызком карандаша вписал в дневник еще одну строку:

«1 июня. Мотю ранили вечером».

Он понимал, что одной стычкой, пусть случайной, дело не кончится. Облавы, ясно, пойдут все чаще. Наверняка чека разузнала кое-что о его намерениях. И тут он был прав. Кольцо сжималось. В его записной книжке появятся злые слова:

«3 июня. Вновь были язычники.

5 июня. Всю ночь обыски.

6 июня. Из щели ушел в бор...».

Пройдет еще несколько дней — и некогда будет писать атаману. А семнадцатого июня... Но о семнадцатом Петр Лубков еще ничего не знал. Занимался только второй день месяца.

Поставив точку, Лубков аккуратно положил на место черную книжечку, рядом с брошюрой Пантелеймонова монастыря и порвавшейся на сгибах цветной «Картограммой чистого сбора хлеба с 1 десятины по естественно-историческим районам Томской губернии в 1913 году», которой пользовался с партизанских времен за неимением более подходящей географической карты. С удовольствием растянулся на тулупе. Мысли волнами откатывались назад, обнажая недавнее прошлое. Ну что за судьба такая! Втянула в огненный круговорот, вынесла на стрежень, а потом давай швырять из омута в омут.

Ведь поначалу все складывалось как надо. Вернулся с германской, из госпиталя хромым, но с почетом — «Георгия» за храбрость за-

служил. Революцию принял спокойно. Советы обещали свободу, землю, поотменяли царские налоги и недоимки. Что ж, это хорошо.

На сходки Петр ходил, слушал ораторов внимательно — и большевиков, и эсеров. Но в споры не ввязывался. Политика для него оставалась тайгой дремучей. Войди поглубже — долго аукать будешь. Да и что им, Лубковым, нужно? Живут крепко, хоть в кулаках и не числятся. Помогают по хозяйству друг другу. Семья-то немаленькая: братья Емельян, Иван, Петр, Игнат да сестра Мария.

Но весной восемнадцатого, не успели отсечься — новость: чехи, бывшие пленные, которых на Дальний Восток перевозили, чтобы домой отправить, мятеж подняли. Тайгу, Юргу, Мариинск заняли. Советскую власть свергли. Красногвардейцы дрались за нее отчаянно, да где там с обстрелянными, обученными, хорошо вооруженными регулярными частями справиться...

А вскоре в Омске объявилось Временное сибирское правительство. Из эсеров, меньшевиков и прочей шушеры. В его воззваниях, которые и до Святославки дошли, много было крика про «революционную демократию», про «защиту родины от большевизма», про «священное право частной собственности» и прочее, и прочее.

Лубковы, однако, как и большинство святославцев, восторгов насчет этих деклараций не выказывали, действовали по старой крестьянской поговорке: поживем — увидим.

Но чем быстрее созревали хлеба, тем тревожнее ползли слухи: в Мариинске и Томске коммунистов расстреливают, в Малопесчанке, Почитанском и в других деревнях и селах милицейские команды Временного правительства во имя «защиты свободы» лошадей, скот, шинели, тулупы конфискуют, парней в Сибирскую армию силой сгоняют.

Вот это уже насторожило многих. Что же это за «свобода» такая? Грабеж обыкновенный, да и все!

Заволиновалась Святославка. Тем более, что новые вести пришли: в Тайге железнодорожники забастовали, в Анжерке и Судженке —

шахтеры. В Арсентьевской, Таловской, Варюхинской, Ярской волостях отказались посылать новобранцев на сборные пункты, и тогда посланы солдатские команды — хватать непокорных.

Лубковы на семейном совете решили своего кровного добра не отдавать. Мало ли там где-то всяких разных правительств объявится, что же, зазря теперь хлебникам-господам последнюю рубашку отдавать?

Все чаще вспоминали мужики разогнанные Советы — нет, те без насильничания обходились, уважали крестьянина-труженика.

23 августа явились белогвардейские милиционеры и в Святославку. Крики, плачь, ругань сопровождали их поход от двора к двору. Петр надел изрядно выцветшую фронттовую гимнастерку с Георгиевским крестом. Была у него тайная надежда: не тронут солдата с отличием, к тому же раненного в боях за Россию.

Как хозяева, вошли во двор Лубковых милиционеры, возбужденные после первых реквизиций. Петр и Иван стояли, заложив руки за спину, угрюмые, упрямые в своем решении.

— Для победоносной борьбы с врагами Отечества вы обязаны сдать... — офицер глянул в листки с записями, — лошадь, шинель, белья мужского четыре пары...

— Не имеете права, я фронтовик, инвалид, Георгиевский кавалер! — оборвал его Петр. Лицо офицера посерело:

— Что?! Какие права? Ты что, против законной власти? Ишь, Георгиевский кавалер выискался! — он подступил почти вплотную к Петру и вдруг в каком-то иступлении сорвал с него крест, швырнул под ноги и втоптал в грязь:

— Вот и все твои заслуги, красный прихвостень!

Лубков, не помня себя, схватил милиционера за грудки и легко приподнял:

— Каратель! Как смеешь! Меня!..

Иван кинулся в начинавшуюся драку. На шум прибежала, гремя саблями, подмога полужадохнувшегося офицеру. Братьев схватили, связали, разбив кому нос, кому зубы. Учинили погром в избе, забрали все подчи-

стую и, обремененные добычей, двинулись в сторону Томска.

Лубковых вели со связанными руками за телегой в середине обоза. Петр сумел незаметно расслабить путы. И на таежном повороте сбросил их, кинулся неожиданно в малинник, запетлял в высоченной травнице. Попытались было реквизиторы гнаться, стреляли наугад. Но где там! Тайга для Петра — мать родная, а для них — баба Яга...

Домой Лубков вернулся с темнотой. Обымая ссадины да царапины, повторял, как в лихорадке:

— Не прощу сволочам. Всех перебью. Всех!

— Я с тобой, Петя, — отозвался Игнат и вздохнул. — Что-то с Ваней нашим будет?

Петр выпрямился, сжал кулаки:

— За каждый его волос по десятку живоготов на тот свет спишу!

В ту же ночь братья достали из тайника надежно смазанные винтовки, банку с патронами, с десяток гранат.

А через день прискакал на взмыленном коне соседский парнишка и крикнул, что снова милицеская команда к селу приближается. Петр с Игнатом — за оружие и к мужикам, которые услыхав о новой напасти собрались посреди улицы:

— Вы что, бабы? На фронте немца не пугались, а тут руки кверху: грабь меня, пускай по миру?

— Прав Петр! Обороняться надо! — раздалось в толпе. Человек восемь побежали ко дворам и вскоре вернулись кто с наганом, кто с ружьем или винтовкой.

Засаду устроили за околицей. Подпустили грабькоманду поближе и ударили дружно, прицельно. Восьмерых сразу наповал скосили. Остальные бросились назад без оглядки.

— Ну, а теперь быстро уходить от села подальше, — скомандовал Петр. — Тайга укроет. Там и решим, что делать дальше.

VI

Зыбко и Калинин сидели за столом друг против друга. Молчали. Да и что говорить,

когда и так ясно: одна беда за другой. По-одноночке они, как известно, не ходят.

Калинин только что рассказал о неудаче с Матвеем Пашковым. А заведующий политбюро ЧК в ответ выложил свежую новость: со станции Тайга, ограбив продуч, бежал с несколькими другими бандитами бывший помощник Лубкова Иван Анпилов. Для мариинских чекистов это было полной неожиданностью. Что произошло? Может, тайгинская милиция хочет «подсадить» Анпилова к Лубкову, чтобы поймать того, и ограбление — просто ширма? Но тогда почему ничего не сообщили мариинцам или в Томск? А может, просто прозевали преступника? Пришлось срочно, но осторожно наводить справки, поскольку из Тайги почему-то тянули с ответом на запрос. И вот что выяснилось.

После ликвидации колчаковщины Анпилов служил некоторое время в народной милиции. Когда весной двадцатого его бывший командир был арестован за отказ подчиняться требованиям Советской власти, «преданный» помощничек ограбил его, все вещички присвоил. И, понятно, стал заклятым врагом Лубкова.

Во время осеннего мятежа вел себя тихо, потом в Тайгу перебрался. Но в чем-то прощтрафился и угодил под арест. Там сумел подбить компанию под стать себе, с которой бежал, и попутно, верный своей воровской натуре, очистил магазин.

Но самое важное: в последнее время Анпилов усиленно интересовался, где сейчас Лубков прячется, кто из старых дружков в Малопесчанке, Святославке осел. Стало понятным: хочет на мировую с Лубковым идти, сообщая с ним действовать. И то — куда ж ему еще податься? Тоже считает себя «обиженным» Советской властью. Это подтверждало и самое последнее известие: Анпилов с дружкой появился в Малопесчанской волости, захватил у крестьян две лошади и, преследуемый вооруженными членами местной комячейки, скрылся в тайге.

Опасный, ох, опасный тип. Его шайка Лубкову, пожалуй, впору пришлось бы сейчас. Обиду может спрятать за пазуху, когда го-

товится к новому антисоветскому походу. Как помешать этому?

— Ну, чего молчишь? — Зыбко испытывающе посмотрел в глаза начальнику уездной милиции.

— Да что, — не спеша ответил тот. — Одно ясно: нельзя допустить, чтобы волк с шакалом полюбовно встретились. Тогда совсем зашьемся с ними.

— Это точно. И Пашкова из игры выводить пока тоже не резон. Ведь что мы знаем о Лубковских пособниках? А почти ничего пока. Может, в самом деле их много, аж на тринадцать рот наберется, как Лубков Матвею похвалился?

— Ну, ты скажешь, — фыркнул Калинин. — Похвальба одна.

— Хорошо, пусть на одну даже наскребет — и то... Опять кровь, опять смута? А у крестьян какое настроение? Нет, нам гадать — авось да небось — никак нельзя... В общем, решим так: пусть Пашков бежит из больницы и у своих где-нибудь в погребке или сарае посидит. Ты там устрой вдогонку показательную стрельбу. Только аккуратней, не задень парня. А с Анпиловым... С Анпиловым я своими средствами попробую справиться. Да, и проводи-ка обыск у Первышевых. Только особо-то не старайся...

VII

Жучок поджидал Сергея у кладбища. Огляделся — тихо кругом, ни души. И все же Жучок приказал шепотом:

— Иди строго за мной.

По малоприметной тропке обогнули кусты. Вышли к отсыхающему болотцу, заросшему осокой, поперек которого кто-то когда-то бросил бревно. Сюда даже коровы, кажется, не забредали.

— По бревну шагай, — предостерегающе погрозил Жучок. — Следов чтоб в траве не видать было.

Остановились у старой огромной лиственницы, вывороченной с корнем. Густой смородинник укрыл ее со всех сторон. Сергей огляделся, недоумевая: тут и спрятаться негде. Жучок усмехнулся:

— Давай, лезь в кусты, дядя Ваня уже ждет.

Ах, вон оно что: под корневищем — яма, а сверху — заросли. Догадайся тут!

Лубков сидел на тулупе. Поверх вязаной рубахи — повыцветший, пообшарпанный по краям, но недавно стиранный английский френч, — такого добра партизаны у колчаковских союзников немало «на память» в свое время взяли. Короткие русые волосы. Рыжеватые негустые, чуть обвислые усы на скуластом с восточной примесью лице. Тяжелый, упрямый, недоверчивый взгляд. Силен. Уж на что ладно сбит да крепок Сергей, а Лубков еще крепче, могучее. Хоть и видна во всем усталость. И дряблость какая-то внутренняя в движениях проступать начинает.

«Сдает Петр, — подумал Первышев. — Но все равно и такого живьем, да тем более в одиночку, не взять. Шею враз скрутит».

— Ну, чем порадуешь? — поздоровавшись, спросил Лубков.

— Худо, Петр Кузьмич. У меня обыск вчера был. Что искали — не пойму. Благо, сам у тещи был, там и отсиделся. Может, слухи какие до них дошли, проверяют, почему со службы ушел.

— Вот язычники... — Лубков коротко, но крепко ругнулся.

— А Мотьке удалось бежать. Рана легкая оказалась, а милиционер — растяпа, не очень-то смотрел. Хватился — стрельбу открыл, да поздно. Матвей шустрый. Сейчас в Свято-славке у своих прячется. Надежно.

— Знаю. Пусть притихнет пока. А то ненадолго на мой след навести может. Теперь ты скажи, что про моего помощника-грабителя слышно?

— Не верь ему. Остерегайся.

— Это почему? — Лубков внимательно, в упор посмотрел в глаза Сергею. Тому словно лед к груди приложили. Если заподозрит истину...

— Один милиционер, с которым я раньше служил в Мариинске, проговорился: Анпилова к тебе ЧК шпионом подсовывает. И нападение на продуч подстроено для этого.

— Ерунда, вор он, Ванька. Каким был, таким и остался. Сам бежал, сам грабил. Теперь со мной встречи ищет. Может, и впрямь на первое время полезен будет. А там...

— Но если он верен тебе, почему в прошлом году не пришел?

— И ты — тоже.

— Я — другое дело. Меня с ним не равняй. А Ванька со своими подручными, по всему видать, задание получили: обмануть и взять тебя. Потому он не один. Сам подумай: сначала обчистил тебя, предал, а сейчас, вишь, раскаялся, встречи ищет. Чудно!

Лубков помолчал в раздумье. Наконец нерешительно произнес:

— Пожалуй, в самом деле чудно. А ну как язычников за собой наведет...— Потом добавил уже твердо:

— Подлец он. В общем, если объявится, ему обо мне — ни слова. Пусть порыщет по тайге. А если что — мы и могилу с ветерком бывшему дружку-приятелю враз организуем...

VIII

В ночь на семнадцатое июня милицейские наряды оцепили Святославку. Обыски производил сам Калинин. По достоверным сведениям, Лубков был в это время в селе, пришел в бане попариться да белье сменить.

Притихли, тревожно вслушиваясь в яростный лай собак и приглушенные голоса милиционеров, крестьянские избы. Редко кто спал в ту ночь. И во многих избах недобрым словом поминали Лубкова, все больше раздражаясь на его неумность. Он подогревал неуверенность в завтрашнем дне во всей округе. А хлопот у каждого в тот трудный год было своих предостаточно.

Ждал своего часа и Сергей Первышев. Накануне ему передали от Зыбко: если милиционеры не найдут Лубкова, — арестуют его, Сергея, и Матвея Пашкова. А они должны бежать из-под стражи и прямым ходом, в случае удачи, — к Лубкову. Дальше действовать по известной уже им инструкции.

Зыбко чувствовал себя Сергей в этой двойной смертельной игре. По-всякому может

она оборваться: то ли лубковцы хлопнут, то ли свои — ненароком, по ошибке. Тут только выдержка да сообразительность — твои помощники. Тревожная боль сжимала сердце и при мысли о молодой жене своей, Вассе. Жалко смотреть, как она мучается хоть и крепится, стараясь понять его поступки. Но как он может до поры открыться ей? Верный друг, сколько она пережила в партизанском девятнадцатом...

Вспомнилась боевая отрядная страда. Лихие налеты на железную дорогу. Засады. Погони карателей. Да, были и азарт атаки, и липкий страх. Скрывать нечего — все было. Но тогда и справа, и слева были товарищи. Сейчас он один. Нет рядом никого. И нет атаки. А бой есть. Без «ура» и штыков, но — бой. И с кем — со своим бывшим командиром!

Как же это случилось? Тогда по молодости Сергей не очень-то раздумывал над сложностью ответа на этот вопрос. Лишь годы спустя пришло понимание.

Бесспорно, Лубков был способным военным вожаком и организатором. А вот идеи, цели, за которые он храбро дрался, оказались зыбкими, как туман. Он ненавидел белогвардейцев, и в немалой степени именно потому, что они жестоко оскорбили его, посягнули на его собственность. И — не понимал большевиков, их программы, в душе относился к ним настороженно, недоверчиво. А они, меж тем, постоянно, искренне старались ему помочь избавиться от анархизма, от атаманских замашек.

Еще в ноябре восемнадцатого пришли в немногочисленный пока отряд первые анжерские и судженские шахтеры, среди которых немало было коммунистов. Они настаивали на широкой политической агитации среди крестьян в пользу Советской власти, на том, чтобы дисциплину в партизанских рядах поддерживать революционную, готовить массовые восстания. Анжерские большевики переправляли в отряд партийные директивы, листовки. Их нашли потом при обыске каратели, и управляющий губернией поручик Михайловский поспешил 21 января 1919 года доложить министру внутренних дел Колчака:

«Не подлежит сомнению, что это шайка (то есть отряд Лубкова — Ю. К.) организована на почве противоправительственных выступлений, доказательством чему могут служить следующие документы, обнаруженные в доме Петра Лубкова: 1) воззвание Анжерского комитета Российской коммунистической партии, в котором население призывается к восстанию против существующего строя; 2) постановление съезда означенной партии, имевшего, очевидно, место на Анжерских коях, приблизительно следующего содержания: «Рекомендовать всем товарищам, в целях успешности борьбы с буржуазно-монархической диктатурой, держаться строжайшей партийной дисциплины и устраивать массовые выступления в деревнях...» В конце постановления выражается уверенность, что на этот раз удастся окончательно покончить с буржуазией и соглашательским элементом; 3) письмо, в котором предлагается Петру Лубкову все свои усилия направить на работу по пропаганде по деревням восстания... Все эти бумаги, за исключением письма, писаны на пишущей машинке и снабжены печатью: «Анжерский комитет Российской коммунистической партии».

В феврале пробрался в отряд под видом корабейника большевик Ператинский. Он принес мандат Томского подпольного комитета РКП(б):

«Окружной штаб, рассмотрев вопрос об отряде т. Петра Лубкова и принимая во внимание, что отряд этот, являясь партизанским и действующим против установившейся в Сибири власти колчаковцев, в интересах рабочей и крестьянской бедноты, решил: поскольку отряд т. Петра Лубкова будет преследовать вышеуказанные цели, не связанные с корыстолюбием или какими-либо иными, личного свойства, целями будет способствовать восстановлению в Сибири власти Советов, — оказывать отряду всемерную поддержку, призывая к тому же и население».

Это было не только признание первых партизанских успехов, но и открытое, честное предостережение от всяких вредных загибов, которых у Лубкова и его ближайших сподвижников всегда оставалось вдоволь и

о которых знали подпольщики и в Анжерке, и в Томске. Петр Кузьмич вроде бы принял поддержку и условия большевиков. Но больше на словах. На душе у него кошки скреблись: мол, решили, видно, взнудать меня, к своим рукам прибрать, дескать, хоть ты и командир, а голова всему — мы?

Тут еще эсеры, что в отряд затесались, масла в огонь добавляли. Особенно красиво говорила о «высоких идеалах революции», о народовласти в лице Учредительного собрания, об «опасности» для крестьян диктатуры пролетариата Мотя Белова. Она и другие эсеры рьяно следовали указанию своего краевого комитета — «воздержаться от всяких попыток создать единый с большевиками антиколчаковский фронт». Мотя услужливо подсовывала Лубкову листовки своей партии, вроде той, в которой говорилось: «Не даст мира и хлеба, земли и воли ни реакция, ни Советская власть». И убеждала: надо бороться с Колчаком, но самому, без большевиков.

Лестно было Петру выслушивать похвалы своей храбрости, нашептывания, что он и есть оплот «третьей силы», которая одна и есть подлинная, истинно народная. Легко оказалось сбить ему мозги набекрень. Потому что очень уж хлипкой была основа, опираясь на которую он вышел на тропу борьбы с белогвардейцами. Политический винограет был у него в голове. К тому же не первой свежести.

И потому, когда восстановилась Советская власть, Лубков не торопился подчиниться ее порядкам, примерялся к жизни по агиткам Моти Беловой. В бурной, трудной обстановке тех дней пришлось пойти на крайнюю меру предупреждения — взять под арест бывшего командира. Вскоре его освободили. И опять ничего не понял Петр Лубков, ничего не извлек из этого урока, кроме упрямой злой обиды. И опять подогрели ее Мотя Белова и ее дружки: вот, дескать, как большевики с народными героями расправляются, разве можно такое терпеть?

В апреле двадцатого года в Мариинск приехал другой прославленный партизанский командир, Василий Павлович Шевелев, наби-

рать добровольцев на врангелевский фронт. Много вчерашних лубковских бойцов пошло за его призывом. А Петр отказался. К нему в Святославку ездила жена Шевелева, Васса Васильевна, всеми умажаемая партизанка, убеждала. Напрасно. Еще хуже: теперь Лубков решил провести свой тайный набор «добровольцев» — тех, кто недоволен продразверсткой и другими вынужденными мерами Советской власти, создать свою армию — «третью силу» — и поднять восстание, решив, что настал удобный момент. И уж не гнушался тем, что его вербовке охотно поддаются в первую очередь кулаки и подкулачники, те самые, которых он совсем недавно публично заставлял раскошелиться в пользу партизан. И пошел на сговор с бывшим колчаковским офицером, с бывшим врагом своим Земцовым, что скрывался от советского правосудия у кулака — мельника Зайцева в деревне Левашовке. (Потом, после разгрома, Лубков в отчаянии от своего краха убьет Земцова).

21 сентября по условному сигналу под команду Лубкова собрались два батальона мятежников — около тысячи человек. Захватили Почитанку, Кольон, Теплую Речку, окружили Ижморку.

Но недолгим оказался кровавый хмельной пир.

...Густые цепи красноармейцев, чоновцев, милиционеров полукольцом охватили позиции мятежников. Лубков, наблюдая за начинающимся боем с небольшого, поросшего кустарником холма, ясно понял, что если сейчас не прорваться к Ижморке, разметав надвигающиеся цепи, положение вряд ли можно спасти, не то что развить достигнутый за минувшие дни успех. Когда врасплох брали первые села, вершили скорую расправу с большевистскими активистами, верные ему мужички, пьянясь удачей (и хмелем — тоже), действовали нахально, рьяно. Похоже, вновь, как в партизанские времена, воистину верили в его удачу, в его зычный клич:

— Партизаны, вперед за нашу вольную крестьянскую власть!

А тут, прижатые с трех сторон к извилистому некрутому берегу Кии, враз поостыли.

Не Колчак шел на них — рабочие из Тайги, Мариинска в засаленных куртках, свои бывшие дружки-партизаны — односельчане многие... И сколько их... И как решительно...

Лубков приказал атаковать на правом фланге — там двигались одни чоновцы. Видел, как нерешительно поднялись его цепи, нестройно закричали «ура». И тут же сбоку застучал красноармейский пулемет. И — конец атаки, молча, стали отползать, отбегать назад, к берегу кучками мятежники.

Лубков зло выматерился, ненавидяще зыркнул на стоявшего рядом Земцова:

— Ты... Твоя затея. Говорил ведь — рано бунтовать, не готовы...

— Не будь бабой, Петр Кузьмич, — а сам глазами по сторонам бегаешь.

— Ах ты! — кровь отлила от лица Петра, он не находил подходящих слов и оттого зверел еще сильнее.

А бой приближался справа, слева. Все чаще тут и там, лубковцы бросают винтовки, покорно поднимают руки. Многие кидаются в Кию, вплавь перебираются на другой берег и скрываются в ивняке. От холма к броду остается совсем узкая полоска.

Конец? Сейчас — да, это ясно. Но еще посмотрим, кто кого... А этот, офицеришка, еще кривится свысока!

Лубков вскочил на коня, крикнул своим оторопевшим штабистам:

— По домам! В схроны! Притихнуть! Ждать моего приказа!

Земцов пытался схватить коня за холку. Петр несколько раз в упор выстрелил ему в грудь и рванул через кусты к броду...

«ЛИКВИДАЦИЯ БАНДЫ ПЕТРА ЛУБКОВА»

На реке Кие в Мариинском уезде 26 сентября банда Петра Лубкова разгромлена отрядом Красной Армии. Захвачен лубковский штаб со всей перепиской и воз оружия. Командир лубковского «батальона» убит. Самому Лубкову удалось скрыться.

(Тайгинская газета «Знамя коммунизма», 30 сентября 1920 года № 91).

Так наступило горькое похмелье. Для Петра оно затянулось почти на год.

...И вот теперь подошло время развязки. И отвечает за нее он, двадцатитрехлетний чекист Первышев, бывший партизан. Сергей понимал, верил: так надо. Не убережешь Лубкова с дороги — долго не будет мира в уезде. И много еще невинных сирот и вдов добавится.

Нет, он выполнит приказ ЧК, захватит Лубкова. Или...

...Наконец, стукнула калитка. В избу вошел Калинин с тремя милиционерами. Значит, и на этот раз ускользнул хитрый атаман.

— Первышев, собирайся. Ты арестован.

Сергей молча застегнулся, шагнул к порогу, Калинин шепнул:

— Как доведем до околицы — сигай в кусты. Не бойся — шум для виду будет. Имей в виду: Пашков бежать не может. Ты — один. Держись...

IX

Четвертый день отсиживаются в таежной избушке Лубков с Первышевым и двумя угрюмыми, обросшими мужиками — личной охраной атамана. Тогда спектакль с побегом при аресте прошел удачно. Но рассвете Сергей по бревну прошмыгнул к яме под корневищем старой лиственницы и свалился прямо на Лубкова. Оказалось, тот в самом деле был в Святославке, но вовремя успел спрятаться в амбаре, в одном ему ведомом тайнике.

— Больше я домой не пойду, — отдышавшись, категорически заявил Сергей. — В ЧК мне пока делать нечего.

— Это верно, — согласился Лубков. — При мне останешься. Все равно до нашего часа минуты остались...

С темнотой перебрались в тайгу, под охрану молчунов-верзил. Петр уже не скрытничал, полностью уверовав в преданность своего бывшего партизана. Он рассказал ему о деталях подготовки нового мятежа, о самых близких своих подручных, о том, где спрятали оружие, где тайные явки.

Сергей слушал, запоминал, иногда сам предлагал что-то. Но его не оставляло чувство, что во всех этих планах больше озлобленного, воспаленного воображения Лубкова,

чем реальности. За год много ветров отшумело, и не поднимется та рать, которой бредит Петр Кузьмич. Нет ее. И не будет. И все же шайка ответных лубковских сообщников, как и он, выродившихся в бандитов, опасна. А как ее обезглавить? Словами?

Сергей осторожно заговорил с Лубковым о том, что-де не очень-то ладно все получается: сначала дрались с белой сволочью за Советскую власть, а теперь превратились в ее смертельных врагов. Одолеем ли, возьмем верх? Может, лучше на мировую пойти?

Лубков пришел в ярость:

— На мировую? Ну, уж нет, ни за что! Лучше в самом деле в Монголию, к белому атаману Семенову подамся. Это тебя большевики своим духом успели пропитать. А я их вешать буду. Подряд. Всем могилу с ветерком обеспечу. И тем, кто раньше в моем отряде был, а сейчас предал. Я уже список составил кое на кого, — он многозначительно похлопал по левому карману френча, где лежала заветная записная книжка в черном обветшалом переплете. — Ненавижу!

Успокоившись, добавил:

— Час мести близок. «Тройки» мои готовы.

Да, злобное упрямство Лубкова словами уже не поколеблешь. Он все больше увязал в мешанине анархо-эсеровских проповедей и откровенного бандитизма. И это был неизбежный финал его падения...

Как ни пытался Первышев дать знать чекистам о месте, где прячется с Лубковым, чтобы в удобный момент арестовать того, — безрезультатно: Петр теперь ни на шаг не отпускал от себя «адъютанта». И чем больше думал Сергей, тем яснее становилось: не удастся самому скрутить, взять живьем, единственный выход — убить главаря, как того требует последний, чрезвычайный пункт инструкции Зыбко.

Однажды Лубков послал Сергея на брошенную пасеку, в версте от их логовища, проверить тайник с оружием и принести две винтовки с патронами. И опять — с провожатым. Склад оказался богатым, полностью роту снабдить можно. Видно, с партизанских времен остался.

Когда Первышев вернулся, второго телохранителя уже не было. На удивленный вопрос Сергея Лубков махнул рукой:

— Отпустил на поле, пусть бабе подсобит, истосковался. И этот пусть идет пока. А мы с тобой перекочем на Шатохину заимку. Там последний сбор будет.

Сергей услышал стук своего сердца. Вот и подошел последний час. Прозевашь — весь риск прахом пойдет, себя не убережешь и позора не смоешь.

К вечеру добрались до Шатохиной заимки, в двух верстах от Святославки. Собственно, от заимки осталась одна рига — хозяева давно покинули это место. В сарае было прохладно, густо пахло конопляной мякиной. В ее ворохах и устроили себе постели.

Немного погодя из кустов послышался робкий, пугливый окрик:

— Кузьмич!

Сергей схватился за винтовку.

— Не надо, — остановил Лубков. — Это Прасковья Цветкова, знаешь ее. Я намерен в поскотине встретил и наказал сюда ужин принести. Послушная. Второй раз приносит.

— Не выдаст?

Лубков только усмехнулся многозначительно: «Что ей, семьи не жалко?» — и вышел из сарая.

В узелке кроме буханки хлеба, яиц, лука и сала нашлась и бутылка пахучего первача. Плотно поев, устроились поудобнее на конопляных «перинах». Сергей поставил свою винтовку в угол, повернулся на бок и притих, одним глазом наблюдал за Лубковым. Тот зарядил трехлинейку, поставил ее на боевой взвод и положил справа от себя. В левую руку взял браунинг и, тяжело вздохнув, пробормотал:

— Вот и еще одна ночь...

«Последняя», — мысленно добавил Сергей. Время для него самого то летело скакуном, то плелось, как по вязкому болоту. Сергея знобило от напряжения. Уснул или нет Лубков?

Кажется, уснул. Теперь неслышно снять с себя ружье.

Выждал еще минуту. И только приподнялся — Петр тут же вскинул голову:

— Ты чего?

— Да почудилось — шаги вроде, — а у самого аж в пятках льдинками закололо.

Лубков прислушался и недовольно буркнул:

— Креститься надо. От страха тебе мерещится.

Сергей закрыл глаза. Чуть было не провалил все! Нет, пусть захрапит, тогда... Навалиться, ремнем успеть руки перехватить...

А если вырвется?..

И снова время путало свой бег.

Лубков дышал все глубже. Вот и посапывать-посвистывать во сне начал. Губами причмокнул...

Ну, теперь пора!

Сергей осторожно-осторожно поднялся. Переступил лунную дорожку и быстро накиннул ремень на правое запястье Лубкова. И — отлетел в мякину.

Лубков рывком сел, спросонья молча уставился широко открытыми глазами на Первышева. Левая рука потянулась к выпавшему браунингу. Сергей кинулся к лубковской винтовке. Выстрелил в грудь и тут же снова клацнул затвором.

Лубков продолжал сидеть, медленно наводя браунинг на стрелявшего. Ужас охватил Сергея.

В третий раз гроыхнула винтовка. Пуля попала в правый висок. Лишь тогда Лубков так же молча повалился навзничь.

X

«СМЕРТЬ БАНДИТА

На днях на имя политбюро Анжеро-Судженского района (копия командиру полка т. Емельянову) поступила телеграмма за подписью заведующего политбюро г. Мариинска т. Зыбко следующего содержания:

«Сообщаю для сведения, что в ночь с 22 на 23 июня в двух верстах от села Святославка нашей разведкой убит бандит Лубков Петр Кузьмич. Труп Лубкова опознан крестьянами Малопесчанки и других сел, доставлен 25 июня в г. Мариинск, где и предан земле».

В таком исходе вряд ли кто сомневался. Окончательная ликвидация отрядов и гибель

Лубкова были предрешены подавлением мятежа в районе Мариинского уезда в сентябре прошлого года...»

(Анжеро-Судженская газета «Коммуна», 3 июля 1921 года, № 39).

«Я, Съедин Иван Петрович, 57 лет, женат, крестьянин, не судился, беспартийный, проживаю в селе Святославка...

Убитого... видел и признаю, что это действительно мой зять, Петр Кузьмич Лубков...».

«Я, Цветкова Прасковья Моисеевна, 43 лет, замужняя... Подтверждаю: убитый действительно Петр Кузьмич Лубков...».

«НА КРАСНУЮ ДОСКУ

Ниже помещается список активных партизанских руководителей, принявших деятельное участие в уничтожении банды Лубкова.

Бандит Лубков был убит первым из них — т. Первышевым.

ПЕРВЫШЕВ, БУТОВИЧ, ШАРАПОВ, ПАШКОВ, КАЛИНИН, МЕЛЬНИКОВ, КРУТИЦКИЙ, КОМАРОВ.

Грязное кровавое пятно предательства Лубкова, запятнавшее имя красных партизан, — смыто.

Мариинский уком РКП(б) и уисполком».

(Мариинская газета «Коммунар»,
10 июля 1921 года, № 4).

Заведующий политбюро ЧК Зыбко еще раз прочитал свой обстоятельный доклад

председателю Томской губернской чрезвычайной комиссии, убористо отпечатанный на машинке, дописал к нему ходатайство о поощрении участников операции. Проставил дату — «30 июня 1921 года», исходящий номер — «342». Полистал записную книжку — дневник Лубкова — и положил в картонную папку вместе с другими бумагами и записями, обнаруженными в карманах убитого, с протоколами опознания и протоколом судебно-медицинского осмотра трупа, который составил врач Мицкевич в присутствии представителей Советской власти и других свидетелей.

Время было заняться другими делами...

Вот о чем поведали старые архивные документы и рассказал Сергей Петрович Первышев, с которым мы долго беседовали при встрече в Томске.

Мне остается добавить несколько слов о Сергее Петровиче. После тех драматических событий он еще год был сотрудником ЧК, а затем перешел на хозяйственную работу. В июле 1922 года стал членом ленинской партии. В период Великой Отечественной войны старый партизан и чекист стал солдатом. После Победы демобилизовался и вернулся в Бодайбо, в потребкооперацию. В 1957 году Сергей Петрович ушел на пенсию, но никогда не прерывал активной общественной деятельности.

В 1967 году в связи с 50-летием органов государственной безопасности награжден орденом Красной Звезды.

Семеро детей воспитали Первышевы. Среди них — врачи, инженеры, торговые работники. Все они — коммунисты.

Я ЗА ТЕБЯ ПОРУЧУСЬ

Есть в соседней с нами Новосибирской области село Коурак. Там и родился Антон Аристархович Дерябин. Учиться в школе пришлось, как он сам говорит, только одну зиму — пошел батрачить. Но и этой учебы хватило, чтобы потом почти всю жизнь работать бухгалтером. С десяти лет читал Горького, Пушкина, Лермонтова. Чуть улыбается: «Могу наизусть...» И сквозь улыбку проступает молодое лицо Антона Дерябина, знакомое по фотографии, сделанной еще в 1923 году. Прошло больше чем полвека, а время не состарило улыбку.

В 1920 году Антон Дерябин вступает в комсомол и в этом же году — в партию. В это время он уже активный боец частей особого назначения (ЧОН), действовавших в Сибири. Заглянем в энциклопедический словарь. ЧОН — военно-партийные отряды в 1919—1925 годах при заводских ячейках, райкомах, горкомах, губкомах партии для помощи советским органам в борьбе с контрреволюцией.

Был Антон Дерябин и секретарем волостного комитета комсомола, и инструктором уездного комитета по работе с молодежью. Тогда-то и начал писать. Печатался в новосибирской молодежной газете.

Из родного Коурака ушел на фронт, воевал, был ранен... Великая Отечественная война кончилась для него в Румынии.

После войны жил на Алтае, а выйдя на пенсию, поселился в поселке Майзас под Междуреченском.

Память Антона Аристарховича сохранила немало интересных моментов и подробностей тех незабываемых лет и не дает ему молчать.

Заслуживающими внимания представляются нам и эти два биографических эпизода из жизни ветерана революции и его товарищей по борьбе. Их мы и предлагаем читателям.

...На рассвете из Брюханова по Морзе попросили срочно вызвать Зорина. Андрей нашел его в волревкоме. Они о чем-то совещались с предволревкома Карягиным.

— Товарищ Зорин! Идемте скорее! Срочно просят на телеграф! — выпалил запыхавшийся Андрейка.

Точка, тире, тире, точка. На узкой бумажной ленте маленькое колесико, смоченное типографской краской, оставляло:

«Ночью был налет банды. Около полсотни верховых пытались захватить нас врасплох. Завязалась перестрелка. Они скрылись в тайге. Могут завтра напасть на вас. Будьте начеку. Мы выступаем в погоню. Пойдем тайгой, выедем на Таловку. Вы идите через Малиновку туда же. Возможно, окружим — уничтожим. Бедарев».

«Хорошо. Выедем», — как всегда лаконично ответил Зорин. С почты он зашел в карауль-

ное помещение, предупредил начальника караула:

— Недалеко ходит банда. Надо быть бдительным.

— И так не спим. Всегда в боевой готовности, товарищ Зорин!

— Срочно собери всех коммунистов и комсомольцев!

— Сейчас организую.

Верхом Зорин слетал домой, переоделся, прицепил шашку, взял продуктов, а в волкоме его уже ждал молодой парень — нарочный.

— Я к вам, товарищ Зорин. По срочному делу.

— Говори, я слушаю.

— Бандиты на нашей заимке.

— Откуда ты?

— С Захаркиной речки.

— Много их?

— Сорок восемь человек. Зарезали двух

овец, расположились на поляне, пьют самогон, жрут баранину.

— А как же выпустили с заимки тебя?

— Я пешком, пихтачом — на Каменушку, а оттуда — верхом.

— Молодец!

Собранные по тревоге чоновцы стояли в конном строю. Правофланговый с красным знаменем Андрей сидел на коммунарской лошадке. Его дважды выгонял из строя Карягин: он оставался за Зорина, ему поручалась охрана села, и он хотел, чтобы Андрей был при нем:

— Ты не поедешь! Будешь у меня связным.

— Хорошо, — согласился Андрей, но, когда отряд тронулся, он подскочил к Зорину:

— Товарищ Зорин! Я хочу с вами, но меня товарищ Карягин не пускает.

— Раз хочешь, то поедем. А товарища Карягина я потом попрошу, чтоб он тебя не ругал.

День выдался солнечный, теплый. Земля покрылась побегами молодой травы, поле усыпало цветы, в воздухе стоял птичий гомон. Вдали над тайгой кружила какая-то большая птица.

У небольшой речушки остановились, спешились, напоили лошадей, курили. Животные жадно щипали молодую траву, мотали головами, обмахивались хвостами, резко топали ногами — отгоняли лнувших мух и слепней.

При въезде в тайгу выслали усиленный дозор. Двигались молча.

В полдень оказались на большой поляне, сделали привал, накормили лошадей, закусили тем, что нашлось. К Андрею подошел Двадцать девятый.

— Ты знаешь, друг, какая сегодня у нас кутерьма была?

— Какая?

— Пошел я Серка ловить, чтоб ехать на бандитов, а отец не дает. «Не тронь, — говорит, — коня! Иди сейчас сдай винтовку и эту комсомольскую книжечку, тогда буду считать тебя сыном, а нет — прокляну и выгоню из дома!»

— А ты что?

— Ну, я, конечно, не растерялся и напер

на него. «Идем, — говорю, — к Зорину, он тебя научит, как помогать бандитам! И наступаю на него: идем! Идем!». Он не ожидал от меня такой прыти, смотрю, бородавка задрожала, на усы покатались слезы. «Вот, — говорит, — вырастил волчонка! Учил его, воспитывал в страхе божием, а он вишь что?». Ну, меня за волчонка и правда зло взяло; как закричу на него: «Пошли, что ли! Кому говорю!». Передернул я затвор и, веришь, думаю, не пойдет — стукнул!

Да ладно мать заступилась, заплакала, я ее пожалел, отступился, а ему заявил, чтоб этот разговор я слышал в последний раз, а если еще услышу — берегись! Тут и Қолка вмешался — он хотя и старше меня, но ты же знаешь, что я побоевее — и говорит: «Раз Мишка вступил в комсомол, то и я вступлю! Сегодня же подам заявление и никаких! А выгнать ты нас не можешь, мы работаем и тебя кормим, а ты сиди и ешь готовый хлеб! Закройся в свою комнатушку и молись, сколько тебе надо, а нас не держи — мы молодые; нас к людям тянет, к молодежи, а ты хочешь, чтоб мы с тобой вместе молились и твою вонь нюхали?!».

— Ну, а он что?

— Повернулся и пошел в свою молельню, наверно, наши грехи замаливать.

— Ха-ха-ха! — от души хохотал Андрей. — Молодцы, ребята! Ей-богу, молодцы! А все-таки отцов-то убивать не надо, ты знаешь, сколько тогда разговоров будет против нас? Стариков не переделаешь: они этот дурман с молоком матери всосали.

К вечеру прибыли на небольшую заимку. Захаркина Речка. Хозяин, мужик лет сорока, сказал:

— Они, паря, недавно скрылись. Ихняя разведка донесла, что вы едете, они быстренько и смотались.

Зорин посоветовался кое с кем и решил:

— Придется ночевать здесь, а то они залегут где-нибудь в удобном месте и перебьют нас всех, при луне-то мы будем хорошими мишенями. Значит, так. Лошадей спутать, поужинать и спать. Кругом выставить охрану.

Андрей встал на пост в глухую полночь. Разводящий оставил его у одинокой пихты.

— Смотри внимательней, чтоб не накрыли нас в темноте,— наказал он ему и исчез.

В глухом безмолвии на Андрея напала жуть. Кругом все как будто замерло, только изредка слышалось фыркание наевшихся и теперь отдыхающих лошадей. Он замаскировался между разлапистых веток и стал прислушиваться.

На востоке появилась белесоватая полоска. «Скоро взойдет луна,— подумал он,— будет светлее и видимость будет лучше». Через некоторое время услышал недалеко, на высокой горе, хриплое, нагсадное: «Фубу! Фубу!». Эх ты-ы, дурак! Весна, теплынь, а ты шубу просишь! — мысленно обругал он филина, но тут же подумал: «А разве бандиты не могут таким манером подавать друг другу сигналы? Конечно, могут».

Его безжалостно кусали комары, в глаза лезла мошкара, он едва заметным движением давил их, но взамен появлялось все больше и больше. «К ненастью прет мошкара», — смекнул он, внимательно присматриваясь. И вдруг его чуть-чуть не задела, бросившаяся искать спасения от совы в густых ветвях дерева летучая мышь. А сова, опавнув лицо Андрея теплым воздухом от веера крыльев, умчалась дальше.

Начало клонить в сон. На востоке светлая полоса становилась все ярче и ярче. Вдруг он уловил треск сломанной ветки. Внимательно присмотревшись к подступающему темному лесу, заметил силуэт человека. «Наверно, это пень сломан,— решил он.— Ведь в темноте все может показаться врагом — принять черт знает какие очертания». Но нет: голова-«сломка» пошевелилась, видать, осматривается. Вот опустилась на землю. «Кто-то есть!» — забеспокоился Андрей и начал соображать, как бы сообщить об этом своим. «А если померещилось? Гляди, Андрюха, как бы не поднять напрасную тревогу на смех всему отряду! — предупредил сам себя. — Да и смена скоро должна подойти».

Нет. Нигде никого не было. Появилась крошка полной луны, четко освещая стену стоявшего недалеко леса. Поляна залилась серебристым светом. «Вот наделал бы паники вояка!» — посмеялся он над собой. И тут

же по его телу, как электрический ток, пробежал мороз: там, где мерещился пенек, показалась кочка: пошевелилась, потом вытянулась на траве и небольшим обрубком, медленно, как червяк, поползла в его сторону. «Бежать, сообщить своим уже поздно: только высунуть из ветвей — он меня и снимет, — лихорадочно работала мысль. — Буду ждать. Я его перехитрю: подпущу поближе, чтоб не промазать, и чикну!» — решил он, снимая пуговицу курка с предохранителя.

Обрубок приближался. Теперь Андрей ясно видел, что это ползет человек. Медленно, как ленивый уж, он извивался по земле. Вот осторожно начал переносить правую руку и на какую-то долю секунды повернул голову, и Андрей увидел в его зубах блеснувший металл. «С ножом ползет. Неужели он меня обнаружил и хочет снять без шума, надеясь на молниеносный удар?».

И тут же Андрей обнаружил, что вся полянка, отделявшая его от тайги, усыпана такими же «обрубками». Ползущий впереди бандит был уже близко, но очертания лица Андрей разглядеть не мог, враг полз, прижимаясь к земле. Это и погубило его. Если бы он приподнял лицо и посмотрел, то обнаружил бы ноги Андрея. Андрей тщательно прицелился в центр головы и спустил курок. И увидел то, что запомнилось на всю жизнь: при лунном свете все бандиты, пренебрегая опасностью, бросились в тень леса, и лишь только один, по которому ударил Андрей, продолжал извиваться в предсмертных судорогах, как змея с раздавленной головой. А Андрей уже бил по убегающим.

Убитого никто не опознал, документов у него никаких не было. Кинжал с черенком, отделанным серебром с чернью, Зорин взял себе, а коротенький обрез, подсумок с патронами как трофеи подвесил к своему седлу знаменосца.

— Товарищи! Закопайте этого негодяя дальше, в сторонке, чтоб не осквернять сенокосы, да в могилу ему, как старому колдуну, вбейте осиновый кол! — распорядился Зорин. Потом посмотрел на Андрейку и похвалил: — Молодец, товарищ Басманов! Они хотели прихватить нас сонными и перерезать,

как ягнят, да сорвался! Кто знает, может, ты спас нам жизнь, пусть не всем, но, несомненно, многим.

Андрей был горд тем, что сам Зорин называл его не как всегда Андрюха или Андрюшка, а «товарищ Басманов».

Бандиты пропали. Два дня поисков сводными отрядами, брюхановским и шубрекским, не дали никаких результатов. Противники Советской власти исчезли в неизвестном направлении и затерялись где-то в непроходимых отрогах Кузнецкого Алатау.

Когда чоновцы возвращались с операции, осмелевший Андрей подъехал к Зорину и попросил закурить.

— На-ка закури! — сказал Зорин. — У меня табачок «Дюбек», от него сам черт убежал! — довольный своей шуткой, захохотал.

— Товарищ Зорин! Я хочу в партию вступить.

— Тебя мы примем. Как приедем, пиши заявление. Я за тебя поручусь.

— Но по уставу мне недостает еще два года.

— Не беда! Прибавь. Раз бить гадов возраст позволяет, значит, и в партию вступить имеешь право.

— Смотрите! Смотрите! — закричали несколько человек показывая в сторону.

Вдоль долины, маневрируя в воздухе, неслась небольшая птичка, а над ней плавно шел коршун. Она всеми силами старалась достичь опушки, чтобы под прикрытием ветвей спастись от преследователя, а хищник, не торопясь, чуть ли не сев на нее, сгреб большой когтистой лапой, и, не меняя направления, а только взяв повыше над верхушками пихт, понес ее на обед, может, себе, а может быть, своему прожорливому потомству. Обреченная птичка пищала, но вскоре, придушенная сильными когтями, умолкла.

— Вот это борьба за существование, — сказал Зорин. — Весь круговорот жизни построен так: сильный поедает слабого, — и, обернувшись к Андрею, спросил: — Ты видал когда-нибудь, как такие вот пичужки сбившейся кучей гоняют коршуна? Бьют его, клюют, он места себе не может найти и старается как можно быстрее удрать от них — спасти свою шкуру.

— Видел.

— Вот теперь и пойми, что значит организация, дружба, спайка.

Чей-то запоздалый выстрел только подстегнул пернатого хищника. Взмахнув могучими крыльями, он скрылся за зелеными шпильками.

...Через неделю, на первом же партсобрании, Андрей единогласно был принят кандидатом в члены РКП(б).

Зорин был ошеломлен. Поздно ночью неожиданно в его кабинет вошел Талагун. Машинально Зорин бросил руку на кобур, но Талагун успокоил:

— Не надо, гражданин Зорин. Вы видите, я без оружия, притом арестован.

— Кем?

— Вашими посланцами.

— Какими?

— Фамилий не знаю. Зовут друг друга Андрейка, Фролка, Галийка.

Теперь Зорину стало понятно. Дня четыре назад из коммуны угнали тройку самолучших лошадей и куда-то затерялись Андрей Басманов, Фрол Голомидов и Галий Назыров.

— Где они, похитители?

— Двое здесь, — Талагун показал на двери, — третий под окном.

— Конвоиры! Зайдите! — крикнул Зорин.

С сияющими и в то же время виноватыми лицами вошли Андрей и Фролка. Фролка сказал:

— Сейчас прибежит Галийка.

Зорин ласково посмотрел на ребят:

— Ну, как съездили, братцы?

— Хорошо.

— Чего стоите? Падайте на стулья, — и добавил: — Присаживайтесь и вы, господин Талагун, — ему он показал место против своего стола. — Андрей, скажи рассильному, чтобы срочно вызвали начальника милиции, — и спросил Талагуна: — Наверное, не думали побывать снова в наших местах?

— Да, не думал.

Теперь Талагун не носил темных очков и глаза сильно обезображивали его суровое лицо. Правым глазом он злобно смотрел на Зорина, а левый безучастно блуждал по сидевшим у стены чоновцам.

— Вас кормили? — спросил его Зорин.

— Да. Спасибо. Ваши орлы не забыли обо мне. В некоторых деревнях они останавливались у самого богатого дома и говорили хозяйину: «Мы возьмем матерого колчаковца, накормите его и дайте что-нибудь на дорогу». Так сказать, играли на классовых чувствах. Те кормили и давали.

Зорин посмотрел на часы, перевел взгляд на Талагуна:

— Второй час. Разговор у нас с вами будет очень серьезный и долгий. Сейчас вас возьмет начмилъ, делом займемся утром.

— И как же вам, чертенят, удалось заарканить такого тигра? — спросил потом у друзей.

— Очень просто, — ответил Андрей. — Фома Безгодов рассказал, что в мариинской тюрьме надзирателем — Талагун и готовит восстание. Недолго думая, мы и решили преподнести сюрприз. Заложили тройку и — аллюр! Кони, как птицы, быстренько и слетали.

— А там?

— Пришли к начальнику тюрьмы, показали на Талагуна, объяснили, кто он, и сказали, что приехали за ним. Начальник проверил наши документы, я даже показал ему партбилет. Он подумал и говорит: «Для нас этот тип казался очень подозрительным, но бумаги у него безупречные. Фамилия, конечно, другая. Значит, он, гад, замаскировался. Пожалуй, возьмите его, авось с ним и разберутся, да смотрите, будьте осторожны, как бы он от вас не ушел».

Но у нас уже все заранее было обдумано.

— Молодцы, сорванцы! А вот за то, что удрали втихаря, надо бы вас наказать. Да уж ладно, на этот раз простим. Больно матерого зверя-то добыли!

Весть об аресте Талагуна мигом облетела всю округу. Андрей, Фрол и Галий ходили героями, их поздравляли, жали руки. Собравшаяся у волпревкома толпа неистовствовала, особенно женщины, у которых мужья были расстреляны.

п. Майзас

— Дайте нам его сюда!

— Мы из него кишки выпустим!

— Разорвем в клочки!

Некоторые, отстраняя часовых, пытались сорвать с дверей каталажки тяжелые замки, вытащить Талагуна и устроить над ним самосуд.

Перепуганный бандит забился в темный угол. Он уже представлял себе, как разъяренная толпа волочет его на площадь, как с искаженными от злобы лицами мужики, бабы и даже ребятишки бьют его, вымещая на нем всю накопившую злобу. Видел свой обезображенный труп, смешанный с дорожной пылью, и с облегчением вздохнул лишь тогда, когда на крыльце раздался зычный голос предволревкома Карягина.

— Товарищи! Нам нисколько не жаль отдать вам на суд линча, — он любил блеснуть такими непонятными словами, — этого кровопийцу, он его заслужил. Но поймите, этого сделать мы не можем. От заслуженной кары бандит не уйдет! Но он действовал не один, ему помогали. Он должен рассказать обо всех, кто был предателем в нашей округе, кто давал ему списки большевиков и просил их расстрелять. Талагун — это вещественное доказательство против них! Если его убьете, то остальные бандиты так и останутся неразоблаченными. Откуда вы знаете, что среди вас нет таких? Может быть, они кричат, что его надо уничтожить, лишь только потому, чтобы спасти свою шкуру?! Милиция произведет расследование и отправит Талагуна в город, а вместе с ним и тех, кто помогал ему. Будем просить, чтоб судили его здесь, в Шубреке, где по его вине и вине его подручных в братской могиле лежат наши товарищи, ваши отцы, мужья, братья!

Это подействовало. Народ начал расходиться, но кое-кто еще не сдавался:

— Отправите, его там допросят и отпустят!

— Вот таких же живоготов сколько раз отправляли?! Смотришь, а они уже дома!

— Нет, нет! Этого негодяя не отпустят, — заверил Карягин. — А вот добавить к нему кое-кого могут!

Максим Рыжков

ТАЙНА ДЕВОНСКИХ НЕДР

Край, где несметный клад заложен,
Под слоем — слой мощней вдвойне.
Иной еще не потревожен,
Как донный лед на глубине.

А. ТВАРДОВСКИЙ

Содержится ли нефть в недрах нашей области? Этот и ныне живо-трепещущий вопрос впервые возник в годы первой пятилетки. Невиданное развитие индустрии нашего края требовало все новых источников сырья. На земле Кузнецкой была развернута широкая сеть поисковых партий при участии многочисленного отряда геологов. Общее руководство осуществляли выдающиеся советские ученые И. М. Губкин, С. В. Кумпан, М. А. Усов и В. И. Яворский.

Но тайна кузнецкой нефти осталась неразгаданной. Рассказывая о событиях, участником которых он был, автор пытается приоткрыть тайну.

«ЖЕЛТОРОТИКИ»

Прибывшие в распоряжение Щегловской геологоразведочной базы молодые изыскатели расположились среди двора. Смех, гомон разбудил дремлющую тишину деревянного одноэтажного Щегловска. Погода стояла теплая. По обочинам дощатых тротуаров весна уже расстилала зеленые ковры. Издали, с юго-запада, темным валом надвигалась туча. Там полыхали молнии, рассекая, словно клинками, горизонт. Приглушенно урчал гром.

К нам вышел главный геолог базы Архипов, поглядел на небо, кратко рассказал о нашей будущей работе и зачитал список назначений по местам. Максименко, Другакова, братьев Чертковых и меня определили в Барзасский район, но Архипов предупредил, что придется ждать «оказию», так как постоянной связи с районом не было.

Оказия подвернулась на третий день ранним утром. Для Барзаса снарядили обоз. На подводах самое необходимое: продовольствие, оборудование и геологическое снаряжение.

Повозки нагрузили доотказа. На них же мы уложили свои потертые чемоданы с нехитрым холостяцким барахлом, а самим ничего не оставалось, как идти пешком. Пример тому подал геолог Сергей Иванович Шкорбатов, сопровождавший эту большую по тем временам кавалькаду.

В два приема обоз паромом переправился через Томь и двинулся в дальний путь.

Первую остановку сделали в деревне Боровая. Здесь, в бывшем кулацком доме, размещалась контора геологоразведочной партии. В этом районе разведкой каменных углей руководил геолог Виталий Иванович Скок. Мы кинулись в помещение конторы в надежде узнать что-нибудь новое.

— Куда это ты тащишь желторотиков? — кивая в нашу сторону, с усмешкой поинтересовался Скок у Шкорбатова. — Намучаешься с ними...

— Ничего, в тайге пооботрутсЯ, хорошими специалистами станут, — смягчая неловкость, ответил Сергей Иванович, — просить будешь — не дам...

Смущенные, мы сгрудились на высоком крыльце, не решаясь перешагнуть порог.

— Вот уж и застеснялись, будто красные девицы, — улынулся Виталий Иванович, пропуская нас вперед, — заходите смелее. — Он вынул из тубуса сверток бумаги, разостлал на столе схему участка «Северный». — Этот район, — сказал он, — беден обнажениями, поэтому разведка ведется в основном с помощью канав, шурфов и механического бурения. Угленосная толща тянется на север от действующей шахты «Центральная», поэтому назван участок «Северным» (впоследствии и за шахтой закрепилось это название).

Скок посоветовал сделать остановку на Кедровском участке. Река Кедровка вскрыла хорошие обнажения. Там ведет поиски геолог Белянин.

— К слову, — сказал Виталий Иванович, — на Кедровском участке вы увидите выходы мощных пластов каменного угля, позволяющие вести разработку открытым способом, что сулит большой экономический эффект (прогноз Скока и Белянина осуществился после войны. Сейчас действует здесь один из мощных угольных разрезов бассейна — «Кедровский»).

ГНИЛОЕ БОЛОТО

Добравшись до Барзаса уже ночью, переправились через реку и поднялись на бугор, разрезанный глубоким рвом. На самом краю крутого обрыва горел костерок; в отсветах огня, неподалеку, белела палатка. Тянуло неотразимым ароматом свежей ухи, заправленной лавровым листом и луком.

Коллектор Анатолий Васильевич Бяков ловко снял с костра ведро, налил бульон в деревянные миски, а дюжину не успевших развариться мерных щук и налимов вывалил на свежие кедровые доски, пригласил к «столу». Уха оказалась на славу. К тому же у нас в рту целый день не было ни росинки.

— Этот увал мы назвали Дедушкиной горой, — сказал Шкорбатов, — здесь жил старик, держал пасеку. Он и указал коренной выход сапропелитов, скрытый в зарослях оврага.

Предыстория сапропелитов была сенсационной. Еще в 1914 году на бичевнике Томи выше Щегловска геологи обнаружили кусок необычного угля, который загорался от спички и издавал нефтяной запах. Его назвали «томитом». Затем, в 1926 году, С. В. Кумпан нашел куски аналогичного угля в русле Барзаса. Анализ этого чудо-камня дал до сорока пяти процентов первичной смолы. Известный палеофитолог М. Д. Залесский определил происхождение углей из морских водорослей псилофитов и отнес их к сапропелитам.

Находка имела не только научный, но и практический интерес. Могла быть решена ост-

рая проблема снабжения индустриального края жидким топливом.

Однако месторождение сапропелита оставалось загадкой. Начались упорные поиски коренных залежей этого угля, приведшие сначала на речку Камжалу и к устью Кельбеса, затем на упомянутую Дедушкину гору. В короткое время было открыто шесть месторождений сапропелитов в девонских отложениях Барзаса и прилегающих к нему участках.

Разместились мы в недостроенной конторе будущей шахты, строительством которой руководил американский коммунист Рой Андреевич Опалич.

До предела уставшие, всю ночь мы не сомкнули глаз. Нас волновали новые места, новые впечатления. Будоражили еще до конца не раскрытые тайны девонских недр земли Кузнецкой. Интересовало название реки, в бассейне которой предстояло вести поиски полезных ископаемых: Оказалось, слова «бар» и «зас» в переводе на русский язык означают — «гнилая вода»...

На другой день мои друзья отправились в лодках вниз по течению Барзаса, а я — на юг в поселок Дмитриевка.

Таежная тропа то изгибалась, чтобы обойти могучий кедр, то выпрямлялась и бежала по старой террасе Барзаса. От жары парила земля. Целые тучи комарья обрушились на меня.

Пирамидальные пихты и гиганты кедры, плакучие березы и говорливые осины стояли неколебимо, прочно. На высоких деревьях с северной стороны белели сухие ветки, с которых свисали серебристые лишайники. То и дело преграждали путь вывороченные с корнями и сломанные бурей деревья. Ветви пихтача, переплетаясь, опускались до земли, создавая непролазный живой заслон.

Как ни сурова тайга, она также прекрасна. По временам лес словно расступался, давая место полянкам, на которых начала прорастать изумрудная трава, среди нее светились лиловые кандыки. Тишина. Только любопытная кедровка, перелетая с дерева на дерево, резким криком долго сопровождала меня, извещающая лесных обитателей о пришельце.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Начальник Барзасской комплексной геолого-разведочной партии по нерудным ископаемым геолог М. М. Финкельштейн принял меня радушно — назначил производителем работ и установил самую высокую норму хлебного пайка. Жить оставил в своей штаб-квартире, арендованной у старожила-охотника Николы Касаткина.

Мы недоедали, скудно одевались, подвергались лишениям походной жизни, но дружба

помогала преодолевать все житейские невзгоды. Жалованье у нас было приличное, но приобрести что-либо из продовольствия и одежды было проблемой. Выручала спецодежда — молескиновые костюмы и «кирзачи».

Начинали с нуля. Разработали детальную программу полевых работ, приступили к глазомерной геологической съемке. Шаг за шагом, вдвоем тщательно обследовали берега реки Барзас и его правых притоков, заносили в дневники описания встреченных обнажений, измеряли элементы залегания пород горным компасом, отбирали образцы.

Бывало, описываешь обнажения и принимаешь на себя прямо-таки шквальный налет таежного гнуса. Кончишь писать, проведешь ладонями по лицу — они в крови. Но тут же припадешь к ручью,хватишь глоток-другой хрустально-ледяной воды, обмоешь лицо, и разольется по всему телу живительная бодрость. И снова в путь — считать шаги по азимуту маршрута, всматриваться в берега рек, ручьев, оврагов, вдыхать воздух, насыщенный запахами хвои и иван-чая.

И все же слабая обнаженность коренных пород не позволяла по материалам съемки составить исчерпывающую картину геологического строения этого интересного района. Надо было расшифровать «белые пятна» горными выработками.

В третьем сезоне развернули работы по проходке разведочных канав, шурфов, скважин ручного и механического бурения, заложили штольню севернее Дмитриевки.

Выбирая место для штольни в Марьином логу, мы встретили высокий обрыв — обнажение, а рядом штабель полурасколовшегося горючего сланца-сапропелита. Сомнений не было — это старый карьер. Кто, с какой целью добывал этот горючий камень?

— В старину этот загадочный камень навоедил на темных людей страх,— вспоминал старик Касаткин,— Марьян лог обходили стороной.

В давние времена здесь на берегу рыбной реки и богатом пушным зверем месте хуторами селились беглые люди, в их числе был и дед Касаткин. Он и рассказал внуку притчу о бесовском камне Марьяна лога.

Однажды вдовой поселянке Марье, собиравшей в логу малину, приглянулся плитняк — больно хорош для кладки каменки в бане. С того времени и начали добывать этот камень не только для бань — стали подводить фундаменты под дома.

И что же — горели бани, оседали дома — в прах рассыпались фундаменты. По первости было невдомек, а потом разобрались. Виной был камень. С тех пор проклинали бесовский камень, заодно и старуху Марью, а лог прозвали ее именем.

Заложенные штольня и шурфы требовали квалифицированных проходчиков и взрывников. К счастью, местные жители поселков Дмитриевка, Кемерово, Верхний Барзас, Сергеевка и Одиночный охотно шли к нам на работу. В ту пору основным занятием населения были пушной и кедровый промыслы, пчеловодство и бондарничество, выгонка парового дегтя и пихтового масла, столярничество и другие ремесла. Однако среди таежников оказалось немало в прошлом кадровых рабочих, переселившихся сюда в годы разлуки и голода.

Помню Степана Радыгина — горняка с Урала. Он был назначен десятником и взрывником. Проходчиками были приняты бывшие шахтеры В. Мазенин, П. Чеботарев, братья Червяковы и многие другие.

В глубине непролазной тайги из жителей поселка Придорожный создали бригаду по разведке огнеупорных глин. Руководил ею коллектор Леонид Мезенцев.

Наша комплексная геологоразведочная партия стала крупнейшей в Кузнецком бассейне.

Работы прибавилось, но нас это не смущало. Наоборот, каждый шаг геологической съемки, каждый метр пройденной канавы, шурфа и скважины давали новые интересные материалы и восполняли пробелы в геологической карте, уточняли распределение и возраст осадочных пород.

НАХОДКИ

Работа барзасских геологов привлекала пристальное внимание выдающихся исследователей нашего края. Первым нашим гостем был С. В. Кумпан. Затем посетил Дмитриевку и В. И. Яворский. Не скрою, мы, молодежь, преклонялись перед мудростью этого ученого и великого труженика. Да и внешний вид Василия Ивановича произвел на меня неизгладимое впечатление. Высокий, хмурый, с седыми запорожскими усами и пронизательными глазами, запрятанными под метелки густых бровей, он напоминал билинного богатыря.

Поднимался он раньше солнца, ложился спать глубокой ночью. Прожил он с нами несколько дней, но не нарушил нашего распорядка. Мы уже привыкли рано вставать, быстро завтракать и, не мешкая, браться за работу.

Первый наш маршрут пролегал строго на восток по обнажениям и горным выработкам левого берега Чернушки. Едва успевали за гостем. Через каждые пятнадцать-двадцать шагов приходилось преодолевать изгороди.

— Какого черта не снесли эти проклятые заборы! — ворчал Яворский. — Они работать мешают...

— Василий Иванович, это же крестьянские огороды, — подсказал кто-то.

— Ну, коли огороды...

Проследив продуктивную толщу среднего девона до верховьев речки, подошли к обнажению серых мраморизованных известняков. Осмотрев их, Яворский высказал предположение:

— Возможно это кембрийские известняки. Надо искать в них трилобиты.

Спустя некоторое время я ходил сюда и целую неделю кувалдой крушил глыбы, всматривался в каждый кусочек, но окаменелостей рачков кембрийского моря так и не нашел.

Особенно тщательно Яворский осматривал канавы на гребне Марьиного лога. Перебирал массу кусков и плит известняка верхнего девона. Десятки раз спускался в глубокие канавы. Нужные образцы подавал Нине Курбатовой. Та писала этикетки, аккуратно завертывала в бумагу и клала образец в рюкзак.

Побывали и в верховьях речки Перебой, на новом месторождении горючих сланцев. Возвращались поздно, уставшие, но довольные. Василий Иванович охотно отвечал на вопросы.

— Здесь девонское море наступало на сушу с северо-запада, — говорил он, — видите, береговые красноцветные отложения продуктивной толщи перекрываются мелководными известняками...

Рассказывал профессор о жарком климате, теплом море, населенном множеством животных и растений. Об огромном скоплении на дне лагуны отмерших микроорганизмов, смешавшихся с илом, впоследствии образовавших мощные залежи сапропелитов.

Говорил он свободно, громко, образно, словно жил в ту фантастически далекую эпоху.

...В эту ночь Василий Иванович спал плохо. Ворочался, часто вставал. Подходил к окну и подолгу смотрел на черно-зеленое царство тайги, о чем-то думал. Чуть забрезжил рассвет — он принялся перебирать собранные образцы Марьиного лога. Некоторые куски известняка внимательно рассматривал через лупу. Мы тоже поднялись, сходили на раскомандировку, расставили людей по рабочим местам, вернулись к завтраку. Ученый продолжал увлеченно работать.

— О, о-о-о! — неожиданно загредел бас, — это же строматопора туберкулята...

Мы недоуменно переглянулись. Коллектор Евгений Зайцев не выдержал:

— Василий Иванович, нашли что-то интересное?

— Да, да, молодой человек, — весело отозвался исследователь, — эта находка очень дорога. Я мечтал о ней. Искал многие годы в Кузнецком крае.

И снова увлекательное повествование о жизни пластинчатого коралла девонского моря. Найдено было кстати. Яворский готовил к изданию атлас строматопор девона СССР, а куз-

басского образца в его коллекции не доставало.

К этому времени мы тоже уже собрали богатейшую коллекцию фауны. В ней были разного рода ракушки и кораллы, мшанки и ежи, даже зубы гигантских рыбащеров — ихтиозавров, обитавших в девонском море пятьсот миллионов лет назад.

Кстати, в канаве Марьиного лога мною обнаружен красивый экземпляр спирифера необычной формы. При первой же встрече я передал находку А. В. Тыжнову. Он как раз готовил научную работу «Фауна верхнего девона Барзаса». Спустя год Андрей Всеволодович сообщил, что, просмотрев атласы девонской фауны мира, он не обнаружил такой формы и предложил новый спирифер назвать моим именем.

— Не стоит! — возразил я, — на латинском языке лучше будет звучать «барзасенизес».

РАЗВЕДЧИКИ БУДУЩЕГО

Теперь трудно даже представить, в какой сложной обстановке приходилось работать в начале первой пятилетки. Широкий размах строительства, объединение мелких крестьянских дворов и механизация сельскохозяйственного производства, в особенности создание второй угольнометаллургической базы на востоке страны вызвали значительный рост потребления жидкого топлива в Западной Сибири.

Перевозка огромного, всевозрастающего количества нефтепродуктов из Баку и Грозного повышала их стоимость почти в два раза, перегружала железную дорогу. Государство ежегодно теряло десятки миллионов рублей.

В ту пору в нашем крае еще не было зафиксировано явных признаков естественной нефти. Среди ученых господствовало убеждение, что Западная Сибирь совершенно лишена ее.

Поэтому наша геологическая служба была подчинена проблеме получения искусственного жидкого топлива из барзасских сапромикситов и горючих сланцев, богатых битумами кольчугинских и юрских углей Кузнецкого бассейна и, возможно, — из сапропелитов Ачинского района.

Дело это для советской науки и практики было новым, довольно трудным, требовало колоссальных затрат средств. Особые надежды возлагались на барзасские сапромикситовые угли, сулившие высокий выход первичных смол. Однако в оценке их качества начали поступать противоречивые данные.

И все-таки хозяйственники торопились: заложили шахту по добыче сапромикситов, начали строительство углеперегонного завода и железной дороги на Барзас. А результаты исследований не утешали. Анализы проб, взятых

из разведочных шурфов, показывали высокую зольность сапромикситов и низкий выход горючих веществ. Это обстоятельство вызвало острые противоречия между специалистами.

Помню техническую конференцию в «деловом клубе» Кемерово, на которой встретились инженерно-технические работники строек и геологической разведки. Немало гневных упреков было высказано в адрес геологов. Всем хотелось, чтобы сапромиксит непременно давал высокий выход смолы, как это показывали первоначальные куски его, собранные в руслах рек, обогащенные естественной промывкой.

Надо было обладать недюжинным мужеством, чтобы рассеять заблуждения. А. В. Тяжнов в докладе о проблеме жидкого топлива с выдержкой и тактом обосновал причины переоценки барзасских углей и показал, что сапромикситы требуют обогащения, а это снижает эффективность их переработки. Андрей Всеволодович призвал продолжить исследовательскую работу. После доклада страсти поутихли. Но... хозяйственники «воротили» по-своему.

— Мы должны отбросить долгий путь исследований,— подвел итог заместитель уполномоченного Наркомтяжпрома,— надо по немецкому образцу сразу возводить углеперегонные заводы...

— Да, горючее нам нужно сегодня же, но не любой ценой,— возражали геологи.

В этот острейший момент, как гром среди ясного неба, прозвучал голос академика И. М. Губкина, круто повернувшего стратегию поисковых работ.

В тридцать втором году, на выездной сессии АН СССР в Свердловске, затем в этом же году в Новосибирске Иван Михайлович опирался на новую теорию, впервые высказал предположение о возможности залегания нефти и крупных месторождений природного газа в восточных склонах Урала, Среднего Приобья и недрах земли Кузнецкой.

Великое предвидение советского ученого сбылось — ныне Западная Сибирь стала главной базой страны по добыче нефти и газа. Но к этой победе путь был тернист и долг. Большинство ученых России считали расчет на нефтеносность Западной Сибири вредным заблуждением, а разведку нефти — безответственным разбазариванием народных денег.

В ту пору вновь вспыхнула ожесточенная полемика двух научных школ — старой, придерживающейся взгляда первичности природы нефти, и новой — школы Губкина, — отстаивающей теорию вторичности ее происхождения. Эта борьба впервые возникла в двадцатых годах, на заре становления Страны Советов.

Тогда геолог-нефтяник Губкин обосновал нефтегазоносность девонских отложений Волго-Уральской области и предложил развернуть глубокое разведочное бурение на нефть. В

каких только смертных грехах не обвиняли ученого-новатора! Его предложение открыто объявляли авантюрой.

Как известно, в тридцать девятом году XVIII съезд нашей партии решил создать Второе Баку в Поволжье. Так победил мужественный ученый-коммунист И. М. Губкин, и девонская нефть Волго-Уральского района помогла нашему народу выстоять в Великой Отечественной войне.

Геологам, исследовавшим недра нашего края, были и ранее известны находки твердых и жидких битумов. Еще в двадцать пятом году Ю. В. Кузнецов нашел асфальтиты в обнажении девонских пород реки Тайдон. В двадцать девятом — тридцатом годах С. А. Семенов и В. А. Орестов зафиксировали в своих дневниках данные о жидких битумах в песчанниках обнажения в восьми километрах от устья реки Барзас и в керне скважины у поселка Барзас. Чуть позднее в другом месте А. В. Тыжнов обнаружил выход горючего газа и нефтеподобную жидкость, затем автором этих строк была встречена в керне скважины у поселка Одиногочного бурая маслянистая жидкость со слабым, нефтяным запахом.

Происхождение этих веществ геологи тогда связывали с воздействием магматического тепла на битуминозные породы. Академик Губкин взглянул на эти находки по-новому. Он предположил, что асфальтиты и жидкие битумы образовались из природной нефти, поднявшейся по трещинам пород из более глубоких горизонтов.

Прогноз Ивана Михайловича обнадеживал и послужил толчком к поискам нефти в Западной Сибири. В среднее Приобье была снаряжена поисковая экспедиция под руководством студента Московской горной академии В. М. Сеньюкова.

Труд по поискам нефтепроявлений на северо-востоке Кузнецкой котловины лег на технического руководителя Барзасской геолого-разведочной партии А. В. Тыжнова. Он выявил широкое распространение асфальтитов.

Интерес к Барзасу возрос, и в 1933 году к нам прибыла поисковая партия Института горючих ископаемых АН СССР под руководством ученого М. М. Чарыгина.

Михаил Михайлович со своими коллегами подробно изучил геологию Кузнецкой котловины, обследовал известные и выявил новые места нефтепроявлений, а 30 мая 1935 года в газете «Кузбасс» опубликовал статью, в которой писал: «В результате своего посещения Барзаса у меня создалась определенная уверенность, что нефть в Кузбассе есть». Чарыгин рекомендовал начать проходку колонковых скважин глубиной до восьмисот метров и утверждал, что с продвижением на запад нефтепроявления будут обильнее.

На эти цели средств не хватало. Поэтому на первом этапе ставилась скромная задача — геофизические исследования и бурение неглубоких скважин в полосе Невско-Конюхтинско-Ермаковского геологического поднятия.

Однако результаты вышли за рамки поставленной цели и подтвердили предположения Чарыгина. Приятной неожиданностью была находка Тыхновым загустелей нефти в кернах девонской породы, поднятых с глубины тридцати шести метров из скважины поселка Невского, а О. В. Попова-Тыхнова на новом участке обнаружила обильное выделение жидких нефтебитумов в трещинах пород, извлеченных из скважин у поселков Конюхта и Бердовка.

ТАК РОЖДАЮТСЯ ГОРОДА

Завершив работы в районе поселков Верхний Барзас — Дмитриевка — Одиночный — Сергиевка — Придорожный, наша ГРП переместилась на север. Здесь уже сформировался рабочий поселок Барзас: действовали шахты по добыче сапропекситов, леспромхоз, развернутым фронтом велось колонковое бурение.

По договору с Кемеровокомбинатстроем наша геологоразведочная партия должна была вести поиски коренных залежей оолитовых бокситов на реке Омутной, разведку базальтовых диабазов, известняков и попутно исследовать Бирюлинский участок, найти энергетические угли для нужд Барзасского рудника.

Первые же шаги геологической съемки опрокинули эти намерения. У поселка Бирюля наше внимание привлекли заброшенная штольня и развалины стойловых коксовых печей. Старожилы рассказывали, что до революции бирюлинский уголь обжигался на кокс и доставлялся «гужом» в Щегловск.

Понимая возросший спрос на кокс развивающейся металлургии Кузбасса, мы взялись изучать материалы разведок Богославского горного общества (1913 г.) и позднейших данных Углеразведки, открывших в Бирюле семнадцать пластов каменного угля.

Геологическое строение нового района давало основание предполагать, что бирюлинская угленосная толща является продолжением свиты углей Крохалева рудника, условно отнесенных к коксующимся.

Было решено разведочные работы расширить.

Помню, в геологоразведочную партию стали прибывать группы казахов с семьями. В глущом непроходимом пихтаче возник целый «брезентовый» поселок.

Признаться, первое время мы были крайне озабочены. Продовольствия не хватало. Казахи-степняки, не державшие в руках кайла, на проходке разведочных канав, шурфов и штольни зарабатывали мало.

Одно утешало: жара, бывшая в те времена закономерностью сибирского лета, несколько не смущала южан. Бывало, выходя на работу, они плотнее натягивали меховые треухи и стеганные бешметы и проявляли неистовость в работе. А жизнь в палатках бывших кочевников вполне устраивала.

Вскоре казахи стали выполнять нормы выработки, но на глинистом грунте, а как только доходили до коренных пород, не могли и с места сдвинуться. Организовали обучение людей горному делу. Для пополнения продовольствия создали из местных жителей группу рыбаков.

На сон оставалось мало времени. Ночью у костра — теория. Переводчиком был рабочий Исхак, хорошо владевший русским языком. Ранним утром практика. Мы с опытными проходчиками спускались в забой и обучали степняков методике разработки горных пород. Поднялись производительность труда и заработная плата. В палаточном поселке стало веселее. Нередко по ночам звучали дутары и протяжные казахские песни.

За короткое сибирское лето нам удалось выполнить весь объем основных и дополнительных геологоразведочных работ и на Бирюле вновь открыть четыре мощных пласта коксующихся углей. Газета «Кузбасс» в сентябре 1934 года поместила мою информацию о новом угольном районе. Вскоре побывали у нас известные геологи В. И. Скок и А. М. Белянин и высказали заинтересованность результатами наших изысканий.

В 1935 году мы с М. М. Финкельштейном в «Вестнике» Западно-Сибирского геологоразведочного треста опубликовали работу, в заключении которой писали: «Бирюлинский район достоин самого пристального внимания. Насыщенность его углями, спокойное залегание угленосной толщи, принадлежность некоторых пластов угля к коксующимся, наличие железной дороги, близость тока высокого напряжения, обилие леса — заставляют считать о необходимости скорейшего его изучения. ... Успешное проведение работ позволило бы получить новую, богатую базу сырья для мощной коксохимической промышленности Кузбасса».

Наш прогноз оправдался.

Теперь здесь, где некогда шумела дремучая тайга, выросли шахты и новый город Березовский.

Весной 1935 года мы с Финкельштейном и бригадой буровиков Панкова из бирюлинских дебрей перекочевали в лесостепь. Организовали новую Топкинскую геологоразведочную партию, перед которой ставилась задача: провести предварительную разведку огнеупорных глин у железнодорожного разъезда Буреничево, села Тыхта и девонских глубоководных известняков вблизи деревень Соломино и Подъяково.

Предлагалось в Кемеровском химическом комплексе построить завод «СК» (синтетического каучука), исходным сырьем которого являлся бы известняк с высоким содержанием углекислого кальция. Разведанные нами запасы и качество известняков отвечали требованиям производства каучука, но кемеровский вариант отпал. Однако наш труд не пропал даром. На базе соломинских известняков позднее был построен и ныне действует Топкинский цементный завод.

В тот же год я был призван на службу в РККА, но связи с разведчиками недр не прерывал.

ЗАГАДКА ПРИРОДЫ

Геология тех лет, как уже говорилось, не готова была даже к восприятию гипотезы Губкина, и поиски нефти в Западной Сибири широкой поддержки не получили. Только по мере накопления фактов к исходу второй пятилетки были выделены средства, оборудование и необходимые специалисты. Но помешала война. Хотя поиски нефти в тяжкие годы Отечественной войны и не прекращались, но велись они в незначительных объемах.

Широкий размах поисковых работ на нефть в Западной Сибири начался с пятидесят первого года. В Кузнецкий бассейн был направлен отряд геологов-нефтяников и геофизиков, выделено оборудование.

В восточной полосе, частично и на центральных участках Кузнецкой котловины, от поселка Невского (на севере) и до Абагура (на юге), развернулись геологические, геофизические исследования, глубокое роторное и колонковое бурение. На этой обширной полосе были выявлены многочисленные прямые признаки нефтегазоносности Кузнецкой геосинклинали, в частности непромышленные притоки нефти из скважин Абашевской (д. Узенцы) и Сыромолотненской структур, выход газа, содержащего тяжелые углеводороды, метан и пропан, подтверждающие его генетическое родство с нефтью. Причем газ скважины на юге Борисова до сих пор используется на нужды поселка.

Поначалу считали перспективными на нефть лишь девонские отложения. Теперь нефтегазопоявления установлены и во всей угленосной толще котловины.

На наш взгляд, мнение Ф. К. Салманова о бесперспективности Кузнецкой котловины на нефть, высказанное в его воспоминаниях, является субъективным и не подкреплено ни научными, ни практическими данными*.

Малый объем поисковых работ, сложные

геологические условия, слабая изученность коллекторских свойств палеозойских пород Кузнецкой впадины затрудняли и отдаляли конечный результат поисков нефти.

В Тюменской же области разведка на нефть проходила в относительно лучших геологических условиях. Здесь, в мезозойских, более рыхлых отложениях, сложенных в спокойные волны, успешнее выявились структуры и нефтеносные горизонты. И уже в пятьдесят третьем году в Березове ударил первый в Западной Сибири мощный газоводяной фонтан.

А в следующем году, по причине частичной бесперспективности ряда площадей, разведка на нефть в нашей области стала быстро сокращаться и к началу шестидесятых годов была вовсе прекращена. Кадры и оборудование были переброшены в район Среднего Приобья.

Тайна девонской нефти Кузнецкой котловины осталась неразгаданной. Необходимость заставляла концентрировать усилия по разведке нефти на доступных участках.

Вообще-то, разведка на нефть является самым трудным делом из всех геологических поисков, даже происхождение нефти до сих пор остается великой загадкой природы.

Вот что говорит об этом ученик Губкина академик А. А. Трофимук: «...в каждую из скважин, которую мне приходилось закладывать, я верил... но, если уже быть откровенным до конца, нужно сделать и следующее признание: из ста случаев мой оптимизм подтверждался в двадцати». Это считалось хорошо, так как: «... в мировом процессе поисков нефти из ста скважин ожидания оправдывали только десять»**.

И не удивительно, что первая попытка найти нефть в недрах нашей области пока не достигла цели. Но это о прошлом. Теперь наука далеко шагнула вперед.

«В Сибирском отделении АН СССР разрабатываются вибросейсмические методы разведки для больших площадей и значительных глубин, — пишет академик В. Коптюг. — ...В сочетании с электроразведкой эти методы открывают возможность прямого обнаружения нефтяных залежей, что позволит существенно сократить объемы разведочного бурения»***.

Это вселяет уверенность, что для Кузнецкой нефти придет черед, и она станет на службу нашему народу. Тем более, что в смежной Томской области уже добывают 23 процента (от общего объема) нефти из девонских и силурийских отложений с больших глубин.

Памятью о прошлом и мечтой о будущем живет человек...

* Салманов Ф. По следам первых. — Юность, 1980, № 9.

** Академик Трофимук А. А. Поиск на тридцати широтах. — Литературная газета, 1981, 1 января.

*** Академик Коптюг В. Сибирские масштабы. — Правда, 1981, 15 февраля.

Рудольф Лихоманов

«Каждый день в лесу собираю сказки...» Профессия автора этих строк Рудольфа Лихоманова дает ему возможность постоянно общаться с природой. Он работает в Ольжерасском лесничестве Междуреченского лесхоза. Может быть, поэтому возраст не мешает Рудольфу сохранять в себе детскую свежесть мировосприятия, фантазии. Родные места он населяет сказочным сообществом зверей и птиц, настолько очеловеченным, что в него начинаешь верить, как в реальность. Не зря автор с шутливой гордостью называет себя «помощником лешего Леонтия». А о самом Леонтии и его друзьях вы узнаете из сказок.

ЗАЯЧЬИ РУКАВИЧКИ

Старая зайчиха Касьяновна сидела на пенёке и вязала варежки для внучат. «Скоро будет холодно,— думала она.— Кося и Труся пойдут в школу. Как время-то летит, охо-хо!»

Солнышко пригревало, осыпались с деревьев разноцветные листья. На поляне было тихо, и Касьяновна задремала. Клубок упал и покатился, нитка оборвалась.

В это время Кося и его сестренка Труся играли в «классики». Труся прыгала на одной лапке, а Кося считал:

— Муха-ухо-сено сухо, сладкий сон увидел слон!

Едва Кося произнес «слон», клубок попал Трусю под лапку. Труся подняла его.

— Ой, Кося, смотри, какая рыжая пряжа! Давай перекрасим нитки!

— Давай, перекрасим!— согласился Кося.

Зайчата взяли бересту и перекрасили нитки в белое.

— А теперь понесем бабушке!

Бабушка все дремала. Зайчата разбудили ее и отдали клубок.

— Чудеса,— удивилась Касьяновна,— вроде бы клубок мой, а нитки почему-то белые. У меня вот две рукавички связаны, красные, что осиновые листочки!

— Бабушка, пусть рукавички белые будут, ладно? Как снег, бабушка,— попросили зайчата.— Снег такой мягкий, ласковый!

— Что ж, будь по вашему,— улыбнулась Касьяновна,— свяжу белые, а красные здесь оставим, может быть, и сгодятся кому.

С тех пор у зайчат каждую зиму рукавички белые. А красные варежки, мне сорока рассказывала, нашел лисенок Филия и радуется.

СИНИЕ ХОЛОДА

Лешему Леонтию Шишковичу перевалило за триста лет, он давным-давно уже на пенсии. Но старая привычка берет свое, и он каждый день пересчитывает деревья, а по вечерам сочиняет сказки и приносит их в «Лесное Эхо».

В самые морозы у Леонтия Шишковича разболелся зуб. Леший повязал щеку пуховым платком и, постанывая, пошел бродить по лесу.

«Заглянуть, что ли, к Касьяновне?»— подумал он, увидев дымок над заячьим домиком.— Возможно, полечит зуб?»

Леший стряхнул с шапки снег и постучал в дверь.

— Ой, дядя Леша пришел! С праздником!— запрыгали вокруг старичка внучата Касьяновны Кося и Труся.

— И вас тем же, ох, концом по тому же, ох, месту!— простонал Леонтий Шишкович и потрепал зайчат за уши.

Касьяновна приготовила морковное пюре и усадила всех к столу. Леший все постанывал, потому что зубы болят у всех одинаково больно, хоть у зайчат, хоть у леших, хоть у взрослых, хоть у маленьких.

— Что это у тебя со щекой?— спросила Касьяновна.

— Зуб ноет, ох, спасу нет...— потряс бородой леший.

— А на-ко вот, полечись, милый,— сказала старушка и поставила на стол корзиночку с мятными леденцами,— да расскажи нам лесные новости!

Пока Леонтий Шишкович рассказывал Касьяновне о том, что в лес пришли-пожаловали семь добрых молодцов — синих холодов,

Кося и Труся брали из корзиночки леденец за леденцом и в конце концов съели все. Потом Кося и Труся забрались лешему на колени, и Леонтий Шишкович рассказывал зайчатам по памяти стихи Пушкина и Некрасова, с которыми он в молодости здоровался за руку.

— Ты, Шишкович, лечи зуб-то,— прервала его Касьяновна.

Леший и Касьяновна глянули в пустую корзиночку, а потом на Кося и Трусю. Зайчатам стало стыдно, но так как зайцы не краснеют от стыда, то у Коси и Трусю кончики ушей почернели.

— Ладно, чего там! Среди друзей и в синие холода любая беда — не беда! Я и забыл про зуб свой. Перестал он болеть, потому что тепло у вас от вашей ласковости!— засмеялся леший и, сняв со щеки платок, достал из сумки берестяную тетрадку с новыми сказками.

ВОРОНЬЯ НАПРАСЛИНА

На горе, у самой опушки леса, жил-поживал черный ворон Тоша. Гнездо у него было теплое и большое. Зимой Тоша охотился, а в теплые дни сидел на вершине своего дерева да играл в шахматы с разными сычками. Когда он выигрывал, то радостно трубил в позолоченную трубу. Так ворон прожил двести сорок лет, а может, и больше. Кто птички года-то считает? От возраста и от мудрости много перьев потерял он со своей головы.

Как-то, в стародавние времена еще, прилетела к Тоше серая ворона Верка со своей любимой блохой Пираткой. Понграли птицы песни, крыльями хлоппали. Стала жаловаться Верка Тоше на свое житье-бытье. Бесприютная, дескать, она, сиротинушка. Повесил ворон трубу на сучок, оглядел тощую гостью, жалко стало, задумался. Долго-долго думал. Мудрец был — куда там!

В зазимье, когда ветки над гнездом поглубели, а Лес сделался белым. Тоша оставил Верку домовничать, а сам улетел охотиться. Скоро Верке скучно сделалось и одиноко. По-клевать захотелось чего-нибудь свеженького, да печь топить неохота. Голодно и холодно в

гнезде стало, паутина везде нависла, запустение. Лишь блохе ворона радуется.

В синие холода от одиночества и лени ворона сварливой сделалась. Того ей хочется, другого, а никто из соседних птиц ничего ей не дарит. Обидно стало вороне Верке, что птицы не замечают ее. Не летит проводить даже родственница сойка Софья. Решила тогда Верка схитрить. Спрятала она блоху Пиратку глубоко в гнезде, а сама полетела к пестрому дятлу Петру.

— Красавец,— каркнула ворона,— верни Пир-ратку!

— С чего это ты?— удивленно спросил дятел и продолжал плотничать.

Ворона тут же привязалась к синичке Сонечке, та в слезы, да к снегирию Семену. Семен хоть и недавно в этом Лесу жил, но птицы уважали его за рассудительность и доброту. Утешил снегирь Сонечку. А ворона уже кедровку Катерину костерит.

Большой шум в лесу поднялся. Всем ворона грозит, от всех свою блоху либо выкуп за нее требует, каркает на всю округу, аж иней с деревьев сыплется:

— Пир-ратка, Пир-ратка! Вот Тоша вернется, он всех р-распушит!

Даже когда кривоклювый клест Коля учил своих птенцов летать, и тут ворона не утерпела:

— Пр-рочь, пр-рочь отсюда! Я теперь нервная!

Так и жили птицы до первых проталин. И всяк думал на другого, что-де блоху Пиратку тот-то и тот-то склевал.

Но вот пришла пора, и вернулся Тоша с охоты. Пир горой на весь птичий мир закатил, в шахматы играет, в трубу дудит, с блохой Пираткой забавляется. Увидели птицы Пиратку и ахнули:

— Вот так напраслина!

Ворона Верка едко так улыбается и каркает:

г. Междуреченск

— Я нервная!

Ворон Тоша понял, что к чему, и опять задумался. Думал-думал и выгнал Верку вместе с Пираткой на ночь глядя. Переночевала Верка на соседнем дереве, а утром опять к ворону, не прощения просить, а ругаться с ним. И не раз, и не два пришлось вороне ночевать где попало. Соседние птицы к себе не пускают, помнят напраслину.

Ворон Тоша отгулял сколько положено и другую домовницу в гнездо пустил. Верка вконец обозлилась, гоняет птиц, каркает, совсем тощей стала. Леший Леонтий как-то встретил ее, попенял:

— Оттого и худа ты, Перкина, что сварлива. У вора — один грех, у поклепщика — тысяча!

— Пр-рочь, стар-рый! Я нервная! — каркнула ворона и полетела куда глаза глядят.

СТИХИ — ДЕТЯМ

Станислав Долгов

НОВОСЕЛЬЕ

Соткал паук воздушный дом,
Семьсот окошек было в нем!

И пригласил он в воскресенье
Знакомых мух на новоселье.

Мухи в гости не пришли:
«Дверь, — сказали, — не нашли».

МОЕЙ МАМЕ

Я завтра постараюсь,
Я раньше мамы встану
И голубой платок
Из шкафа я достану.

г. Новокузнецк

В шкатулке разыщу
И нитки и иголку
И в комнате своей
Закроюсь втихомолку.

Оранжевую нитку
В ушко иголки вдену —
И солнце на платке
Ей vyšью непременно.

Мне очень-очень хочется
Порадовать ее.
Пусть греет маму солнышко
Весеннее мое.

Владимир Матвеев

„ВСЕ ПЕТО-ПЕРЕПЕТО, А БУДТО В ПЕРВЫЙ РАЗ...“

Эпиграфом к единственной книжке Владимира Поташова «По небу птичья клинопись...», вышедшей посмертно в этом году в Кемеровском издательстве, я бы взял небольшое программное для поэта стихотворение:

Дорога через жито,
И чибисовый лет,
А вон стоит ракета
И будто слезы лет.

И я на поле этом,
С мокринкою у глаз:
Все пето-перепето,
А будто в первый раз.

И так рыдать хотелось,
Да вот не привелось,
Но плакалось, но пелось,
И родину звалось.

(Стр. 138).

Здесь и до боли родные приметы отчего края, и горькие дни военного детства, память о которых все-таки светла и свята, и лишенное самолюбивых притязаний желание сказать свое, выстраданное всей жизнью слово о матери-родине, о самом дорогом и заветном. Жаль, что слову не суждено было раскрыться в полную силу, что песня оборвалась едва ли не в начале творческого пути, но то, что сделано, добротно по главной сути, не оставляет читателя равнодушным.

Говорить о «петых-перепетых» вещах и рекомендовать себя при этом самобытным, согласитесь, — задача не из легких. За стихами Владимира Поташова встает судьба доверчиво-обнаженной, ранимой души, судьба человека, сохранившего, несмотря на суровые испытания и чистоту помыслов, и поклонение красоте природы и людей, и неподдельный

восторг мальчишеского романтизма. Читая этого автора, нашего товарища по перу, меньше всего думаешь о каких-то изобразительных эффектах (Владимир Поташов за ними не гонялся), а понимаешь, что все написалось как бы само собой, что иначе и быть не могло.

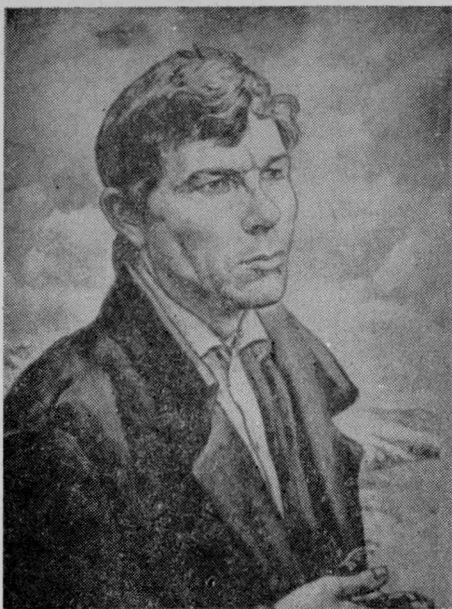
Вот эта органичность, искренность, традиционность в ее добром понимании — свидетельство незаурядной натуры, истоки которой в прочных связях с народной основой, в умении глядеть на окружающее глазами неизбалованного легкими удачами человека, знающего цену Правде, Совести, Красоте, Труду. Каждое из этих слов не зря «с буквы пишется заглавной», ими измеряется самое важное на этой земле: «Беру ту Правду за основу всего, что мне предложит рок, пускай суровым будет слово и трудным будет мой кусок». (Стр. 13).

Владимиру Поташову удавались лирические миниатюры. Он умел в восьми-двенадцати строках сконцентрировать интересную мысль, заставить взглянуть по-новому на, казалось бы, примелькавшиеся явления быта, придать им весомое гражданское звучание.

Ну, чего, к примеру, примечательного в сером нахохленном воробышке, о какой тут поэзии может идти речь! Добро бы, рассказ зашел о соловье — мастере удивлять нас прекрасными руладами. А вот с поташовским воробышком никакой соловей не сравнится, и всех перелетных птиц он превосходит преданностью родине:

По небу птичья клинопись,
Земля с теплом расстася.
Все птицы к югу двинулись,
Немногие остались.

И с ними сад заохренный
И дождик этот редкий...
И вот сидит нахохленный
Воробышек на ветке.



Поэт Владимир Поташов.
Работа художника Г. Захарова.

И холода не пройдены...
И косточки б согреть...
И некуда от родины
Единственной лететь.

(Стр. 137).

Автобиографический характер сборника не снижает его идейно-художественных достоинств. Тут нет сугубо личных моментов, любопытных лишь для себя и своих знакомых. Обычные факты жизни стали фактами поэзии и, если хотите, истории. Такова уж сила лирического откровения.

Прозаичное занятие — грузить картофель, но молодой моряк, получив задание, рассматривает его как долг, «Поскольку вписан в общий строй и стал, как говорится, и боевой, и строевой, и прочей единицей». Да и понимать надо, что не в масштабе работы дело, а совсем в другом: «Я исполнял страны приказ как представитель флота». (Стр. 19).

О верности заповедям предков, о благодарной памяти потомков, о том изначально, откуда пошли на Руси наша крепость и сила, умение и готовность дать отпор любой темной силе, ничем не истребимая широта характера, души, помыслов — стихотворение «Псковщина».

Сторона моя горькая,
Матерь опальная,
Все приемлю, что есть
И что было когда-то:
Колыбельную песню, и речь повивальную,
И призывную медь вечаго набата!
Ведь я русский

и духом, и плотью, и кровью —
Я рожден на Руси и по-русски крещен,
И твоим молоком,
И твоею любовью,
И в твоей колыбели воспоен и возвращен!

(Стр. 72).

И в пейзаже, и в стихах о любви, и в раздумьях морально-философского плана виден прежде всего мыслящий автор, стремящийся раскрыть тему глубоко, многогранно. Даже такие поэтические опыты Владимира Поташова, как «Облака проплывали...», «Во время оно, когда...» говорят в пользу автора, свидетельствуют о том, что он до последнего вздоха жил напряженно, искал, не поддавался крутым обстоятельствам. Подводя черту под своей короткой жизнью, он имел право сказать: «Я дубы корчевал, я скалы в щебенку дробил, я оратаем был и ваятелем был, и воителем, только отчую землю, видимо, странной любовью любил, потому как по ней, по родимой, прошел победителем». (Стр. 140).

И даже грусть ухода в небытие выглядит светлой под «веселую волюнку» лета:

И лето запаливает свои костры,—
Слышишь, играет веселая волюнка?
А я ухожу, это я ухожу, смотри,
Улыбающийся и жующий травинку.

Оставаясь во многом защитником и певцом здоровых народных, преимущественно крестьянских, представлений о духовных земных ценностях, верно воспринимая зерно русских традиций в быту, семье, работе, искусстве, понимая и давнее прошлое страны, и, скажем, сороковые годы, когда жены оставались вдовами, дети сиротами, когда эти самые ценности капитально пересматривались, Владимир Поташов несомненно сумел остаться нашим современником. Между прошлым и настоящим, а в чем-то и будущим, он навел свой поэтический мостик, не впадая в ложную патетику и умиление.

За грубовато-шутливой внешней манерой Поташовских стихов всегда угадываешь автора, задумавшегося о важных проблемах сегодняшнего дня. «Игривостью» как бы прикрыта нежная душа, тревожные сомнения. В сборнике есть незавершенные стихи, но нет безразличных, необязательных, написанных ради забавы, версификаторства. И через интим-

ную историю, и через описание с виду мещанского существования одинокой вдовы с «белой лебедью» на стене, поэт пробивается к самому существенному, заставляет читателя оглянуться, задуматься, иначе посмотреть на привычные вещи.

Банальным показалось бы чувство трактириста к сельской девушке (стихотворение «В деревне разгул мини-юбок...», стр. 104), если бы все свелось только к этому. Ну, встретились, ну, полюбили друг друга — кого таким удивишь! В том-то и прелесть этого частного эпизода, что он пронизан авторским беспокойством за сам уровень взаимоотношений, за утрату вместе с косой, прежде бывшей символом девичьей красоты и верности, чего-то доброго, стыдливого, хорошего, простого, без чего не может быть настоящей любви; она начинает выглядеть пошлой игрой:

В деревне разгул мини-юбок,
Бесчинствует дух городской,
Тебе б показаться у клуба
С тяжелой крестьянской косой.

Да выйти на круг по старинке
С платочком шелковым в горсти,
Да чтоб сарафан да косынка,
А там — хоть трава не расти.

От бесчинства «городского духа» прока не жди. И не мини-юбки опасны, а незаметный, но неизбежный переход к мини-мыслям, мини-чувствам, к деградации высоких понятий.

Прибегая к термину «лирический герой»,

скажу, что в сборнике «По небу птичья клинопись...» он не однозначен. То это неприкаянный мальчишка, оставшийся без отчего дома, завидующий «чужому уюту» и сознающий, что собственная душа «неизмерима меркой коммунальной», то ласково воспринимающий природу странник, у которого одно желание: «Лежать вот так под небом ласковым и стебель солнечный жевать», то творческая личность, берущая под защиту «старые слова», когда они весомы, поэтичны: «За слово, битое однажды, я два небитых отдаю» (Стр. 76). Или: «Поэзия не в филантропстве, не в поучительности строк. Но в том приподнятом сиротстве, в чуть-чуть уловленном не впрок». (Стр. 77).

А рядом с этим — язвительная ирония в адрес «паучьего мира» собственников: «По двору, крижист и важен, ходит сам с лицом квасным, за надежным этим стражем, как за валом крепостным». (Стр. 61); убийственная характеристика «паиньки, умника, чистюли», извращающего вековечный смысл пословицы «не хлебом единым», приспособившим ее к своему паразитическому существованию (Стр. 70).

Ирония и лирика, мальчишеская наивность и зрелая мудрость счастливо соседствуют с героем и отлично дополняются одно другим. Тематически разные стихи, собранные в единое, стали исповедью, песней...

Мои беглые заметки дают лишь самое общее представление об ушедшем поэте. Каждому, кто с ним не знаком, предстоит радость открытия, как это случилось и со мной. «Клинопись» еще нуждается в разгадке.

Борис Рахманов

ВСЕЛЕНСКИЕ МЕЛОЧИ

Была суббота... Из избы
Шли бабы с ведрами до бани,
И старики у городьбы
Трясли козлиными словами.

Александр ИБРАГИМОВ,
сб. «Буквы одуванчика».

Была вселенская суббота.
Степенно мимо городьбы,
Надев резиновые боты,
Шли бабы строем из избы.
Суббота требовала дани,
У тела к жару вечный зов,
Шли бабы с ведрами до бани,
Поскольку не было тазов.
И старый сгорбленный старик,
Тряся козлиной бородою,
На баб глядел и молвил: «Дык,
Тазы нужны... само собою...
В деревню надо бы поэта!—
Переживал старик до слез,—
Приехал хоть бы раз и, ето...
Бабенкам тазики привез!

БЕССЛОВАРНЫЕ ТВАРИ

Не зная, что создан словарь,
По рошам, лесам и полянам
Поет бессловесная тварь...

Владимир ИВАНОВ,
сб. «Беседуя с тобой».

Я тварей жалею до жути
За их бессловарный язык,
Простой, но безграмотный в сути:
— Чуф-чуф, чуф-чурю, чик-чирик!
Поют по лесам, полагая,
Что в бытности нет словаря,
Пример не берут с попугая,
А это, по-моему, зря.



Вот если бы твари читали
«Словарик» товарища Дала
Да в книжки почаще глядели,
То лучше б значительно пели.

НЕБОЛЬШОЙ УЗЕЛОК

Мать целует отца,
подает небольшой узелок,
где бутылъ с молоком,
соль, румяного хлеба кусок...

Николай КОЛМОГОРОВ,
сб. «На земле светло».

Мать целует отца, я гляжу в потолок,
Мать отцу подает небольшой узелок.
Небольшой узелок — там колбаски

кусок,
В банке сахар-песок, абрикосовый сок,
Из картошки пирог и творожный сыр,
сырок,

Со сметаной бидон, ветчина и бекон...
Мать целует отца, я гляжу в потолок,
Мать отцу подает небольшой узелок...
Небольшой узелок, только мне
невдомек,

Как такой узелок мой отец уволок!

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА ЗА 1981 ГОД

К 60-ЛЕТИЮ Е. С. БУРАВЛЕВА

Евгений Буравлев. «Как на шестой
гряде...» № 4.

Валентин Махалов. «Был рабочим
столом верстак...» № 4.

СТИХИ

Валерий Берсенева. «Каков мороз!...». Смерть столяра. «Судьба...» № 4.

Александр Глазырин. Гончар. «Есть одна сибирская река...», «В лесу калину брали...», Травы. «Повспоминать бы с вечера...», «Ищем лиры...», «Поджимает возраст...» № 3.

Сергей Донбай. Сибирская элегия. «В морозном дыме на спине...», Юрмала. Возраст. «А нас обернуло порознь...», Крылья. Земляне. № 1.

Галина Золотайна. «Не заумною и мудрою...», «Я что-то Вам о счастье лопочу...», «Ох, не скоро до весны...» № 2.

Валерий Зубарев. Баллады судеб. № 4.

Тамара Калинина. Лирические миниатюры. № 3.

Татьяна Карманова. «Вот так...», «У меня болят провода за окном...» № 2.

Борис Климычев. Ночь на заимке. «Когда в саду играли где-то скерццо...» № 3.

Николай Клишин. «Мамонты последние уходят...», «Червячок этот дуб подкосил...», «Возлюбили внезапно животных...» № 2.

Валерий Ковшов. «Чую тепло...», «Проснешься, думая, что спишь...», «Глядят на окна сумерки в упор...», Прощание с рекой. «О, первозданный майский лес!...» № 2.

Иосиф Куралов. Свет и лист. «Даль разламывая ветер...», «Кто сказал...», «Поэт молчит...» № 2.

Валентин Махалов. Из цикла «Времена года». № 1.

Михаил Небогатов. Родина. № 1. Год за годом. № 3.

Михаил Орлов. «Счастливое утро!...», «И тонкие эти ростки...», «Задумавшись случайно, вдруг...» № 4.

Семен Печеник. «Иди по угасающему снегу...», «Вот изморозь шпалы покрыла...», «Осенний день...», «Стоят здесь терема...», «Ты видишь...», Памяти Е. Буравлева. «Случилось видеть мне однажды...» № 4.

Владимир Советов. Монолог из странной пьесы. «В метро...», Весна. № 2.

Евгений Харламов. «И хотя я из города родом...», «О чем он плачет, несмысленный?...» № 4.

ПРОЗА

Анатолий Бобриков. Портрет. Рассказ. № 4.

Евгений Богданов. Там, за стенкой. Рассказ. № 3.

Владимир Власов. Мастер. Рассказ. № 1.

Афанасий Жигалин. Дорогами войны. Из фронтовых записей. № 2.

Николай Калачев. Балабон. Рассказ. № 2.

Владимир Коньков. «Летят утки и два гуся». Письмо из Таловки. Рассказы. № 4.

Владимир Куропатов. Некто во множестве лиц. (Повествование в портретах). № 1.

Леонид Лягов. Дед Астафьев. Авария. Рассказы о шахтерах. № 4.

Олег Павловский. Диплом с отличием. Рассказ. № 1.

Анатолий Ябров. Гости. Маленькая повесть. № 3.

Людмила Яковлева. Петя с соседней улицы. Рассказ. № 2.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Владимир Валиулин. Праздник на двоих. Рассказ. № 3.

АНТОЛОГИЯ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Алексей Бабанин. Мой крылатый дружок. Урок на всю жизнь. № 3.

Афанасий Гуковский. Погоня. № 3.
Василий Долгих. Собачье раскаяние. № 3.

Николай Карев. Колючие обманщики. № 3.

Виктор Старостин. Балёля. № 3.
Валерий Сибикин. Из впечатлений детства. № 2.

НАШ СОВРЕМЕННИК

Виктор Лойша. ...Мой позывной — пламя. Жизнь инженера Махонина. № 3.
Татьяна Тюрина. Милосердие. Очерк. № 1.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Г. Колесников. Горсть кедровых орехов. № 1.

Рудольф Лихоманов. Заячьи рукавички. Синие холода. Воронья напраслина. № 4.

В. Мазаев. Из времен года. № 1.
Геннадий Юров. Земля со мною говорит. Раздумья перед новой книгой. № 3.

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

Максим Рыжков. Тайна девонских недр. № 4.

Анатолий Сосимович. Судьба забытых деревень. № 2.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Мэри Кушникова. С любовью к Сибири. № 2.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Антон Дерябин. Я за тебя поручусь... № 4.

Юрий Котляров. Падение. Документальное повествование. № 4.

ИСКУССТВО

Эвелина Суворова. Спектакли особого назначения. Театр и дети. № 3.

СЛОВО — КРИТИКЕ

Н. Бейлина. Пристальное внимание. О книге Е. Цейтлина «Всегда и сегодня». № 1.
Наталья Захарчук. Тепло доброты людской. (О первой книге рассказов Любови Скорик «Шли дожди»). № 2.

В. Копылов. Пристрастие к свету. О новом сборнике стихов И. Киселева «Ночные реки». № 1.

О ПЕРВОЙ КНИЖКЕ МОЕГО ТОВАРИЩА

В. Матвеев. «Все лето-перепето, а будто в первый раз...». № 4.

ЧИТАТЕЛЬ И КНИГА

В. Семенов. Три книжки в столице. № 3.
Е. Цейтлин. «Скажу свое мнение...». № 3.

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

И. Емелин. Юморески. № 2.
Никита Емелин. Мелочи быта. № 3.
Владимир Матвеев. Со стола пересмешника. № 2.
Анатолий Паршинцев. Утренняя зарядка. Юмореска. № 3.
Борис Рахманов. Литературные пародии. № 1. Литературные пародии. № 4.

СТИХИ — ДЕТАМ

Эдуард Гольцман. Черепаха. Жираф. Ку-ку. Отважный листик. № 3.
Станислав Долгов. Новоселье. Моей маме. № 4.
Людмила Фадеева. Убежало молоко. Февральские скворечни. Беседа. № 3.

НАШИ АВТОРЫ

Зубарев Валерий Федорович. Родился в 1943 году в с. Кайла Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор поэтических книг «Говорил со мною ветер...», «Магнитное поле» и «Мыслящий огонь». Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Орлов Михаил Павлович. Родился в 1949 году в Томске. Член Союза журналистов. Работает в редакции газеты «Кузбасс». Его стихи печатались в газетах и в альманахе «Огни Кузбасса».

Печеник Семен Аркадьевич. Родился в 1940 году в Киеве. Окончил Кемеровский медицинский институт и работает в нем преподавателем. Его стихи печатались в журналах «Новый мир», «Радуга», «Студенческий меридиан» и в альманахе «Огни Кузбасса».

Берсенева Валерий Викторович. Родился в 1952 году в Ленинграде. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Работает буровиком на разрезе. Его стихи печатались в газетах и в альманахе «Огни Кузбасса». Живет в Междуреченске.

Коньков Владимир Андреевич. Родился в 1935 году в с. Талое Красноярского края. Окончил Литературный институт им. Горького. Работает редактором областного радио. Автор книги повести и рассказов «Утренняя смена». Член Союза журналистов.

Лягов Леонид Яковлевич. Много лет работал на шахтах Кузбасса. Сейчас доцент Кемеровского политехнического института, кандидат технических наук. Его рассказ печатался в альманахе «Огни Кузбасса». Живет в Кемерове.

Бобриков Анатолий Илларионович. Родился в 1936 году в Ижморском районе Кемеровской области. Работает дежурным электрослесарем подстанции в с. Колыон Ижморского района. Его рассказы публиковались в газетах и в альманахе «Огни Кузбасса».

Котляров Юрий Степанович. Родился в 1930 году в Прокопьевске. Окончил Кемеровский педагогический институт. Работает собственным корреспондентом газеты «Труд» по Кемеровской и Томской областям. Заслуженный работник культуры РСФСР. Автор книги очерков «Я вернусь к тебе, Россия» и многих коллективных сборников. Член Союза журналистов. Живет в Кемерове.

